

АЛЕКСАНДР
ЦЫБУЛЕВСКИЙ

ВЛАДЕЛЕЦ ШАРМАНКИ



**АЛЕКСАНДР
ЦЫГУЛЕНКО**

**ВЛАДЕЛЕЦ
ШАРМАНКИ**

**СТИХИ
И
ПРОЗА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЕРНИ“ — ТБИЛИСИ — 1973

P2
891.71-82
Ц938

Это вторая книга поэта А. Цыбулевского. В нее вошли новые, последние стихи и немного ранних из первой книги «Что сторожат ночные сторожа».

В этой книге А. Цыбулевский представлен и как прозаик. Читатели познакомятся с его своеобразным циклом рассказов, повестьями «Хлеб немного вчерашний» и «Шарк-шарк». Это проза поэта. Часто в ней воссоздана та реальная обстановка, атмосфера, в которой рождается стихотворение.

Редактор Г. Маргвелашвили

Ц $\frac{7-3-3-84}{M604(08)-73}$ 79-73



Издательство «Мерани», 1973 г.

**Карусельный спуск.
Винный подъем.**

**(из названий тбилисских
улиц**

* * *

Что в имени тебе Зербити,
Зербити... и Гохнари — что?
Звезда, сошедшая с орбиты
И медлившая над плетью.

И вот ее изображенья,
Печать в углу надгробных плит.
Лишь штампик детского печенья,
Как в тесто, вдавленный в гранит.

На нем наивны и чеканны
Пастуший посох, меч и плуг —
Ни буквы — все безымянны
Могилы этих звездных слуг.

Что эта женская рука мне,
Изображенная с ключом!
Дождись, пока звезда на камне
Забрезжит каменным лучом.

МАРГАРИТА

Та картина еще не открыта,
Как в шкатулке альбомный стишок.
На тахте возложит Маргарита
И в руке у нас вянет цветок.

Мы не встретимся с нею в «Эдеме»
Боле чем полстолетия назад,
Не пройдем воротами теми
В этот увеселительный сад.

Эта помесь Европы с Кавказом:
Ресторан ли, духан — не понять.
Этот трепет под трепетным газом
Не разъять, не объять, не обнять.

Так шарманка грустит неумно,
Так бывшего томительна власть,
Но природа — она экономна
Ничего в ней не смеет пропасть.

Живописные изображения,
Как их там ни суди, ни ряди —
Может истинные воплощенья
Предстоят им еще впереди.

Золотые проступят оттенки
Из проклеенной наглухо мглы.

...А в саду незнакомки коленки
Так знакомо круты и круглы...

Тут с ней мальчик и девочка рядом,
На скамьях закипает весна.
Мы слепым перекинулись взглядом
И поправила юбку она.

ПУСТОТА

А стихи — чего там в самом деле! —
Что, откуда и куда идет...
Вот опять на улицѣ Шавтели —
Робкий, моложавый идиот.

Возле колокольни Анчисхати
Семечки грызет он до сих пор.
Он не повод, но волна окатит —
Кажется величиной в собор.

Поднялась и сразу же опала.
Эти краски чересчур густы.
Лучше нет на свете матерьяла,
Матерьяла лучше пустоты.

Пустота ночная и речная,
Подле горько плачущей горы.
Что-то про себя припоминая —
Звук неразговорчивый Куры.

У горы аптекарские дозы —
Хлещут вволю и не про запас —
Все текут, не иссякают слезы,
Говорят — целебные для глаз.

Ими лоб когда-нибудь умою —
Третий глаз предчувствуя на нем.

Пустота не хочет быть немою —
Отдает мне комнату внаем.

Что ж увидит, что узреет око —
Немощному глазу вопреки?
Просыпаюсь ~~высоко~~-высоко...
И Кура название реки.

КОДЖОРИ

1

В лесу есть лес не названных вещей —
Вот и ручей бормочет безымянно.
Молчи — молчу, не подаю вестей,
И есть еще остатки крепостей,
Две радуги и завеси тумана.

Ах, передай, но нет, не передашь
Тот лес в лесу — и позже как заране.
В дожди истек забытый на поляне
Чернилами чернильный карандаш.

2

...А где хранится рифма к Кер-Оглы?
Должно быть, в Эрмитаже или в Лувре.
Но нет, не там. Пронесят рифму в клюве
Парящие над крепостью орлы.

3 О ЧЕМ-ТО, О ДРУГОМ

Поют листовы цветные витражи,
И гложет пень, оплывший, как огарок.
В лесу такие чертовы ангары,

Такие вертолеты, виражи.
И листик-жук, точнее, жук-листок,
Несет, нёсет его воздушный ток.
А облако, как из старинной пушки —
Пиши себе — пасется на опушке.
Но разве не виновно ремесло,
Что облака нас облагают данью,
И вдруг потянет виршеплетством, дрянью,—
И не заметил, как позанесло.

Ну что же, облако, пока, пока.
Шумит, шумит кустарник поредельй.
А может быть, писать про облака
Есть способ выйти за свои пределы.

Прямая речь. Речь не обиняком
Про облако. О чем-то о другом.

4

В лесу туман, плывут виденья
Под шелест листьев вековой,
То узник или часовой —
Ему тепло в тепле забвенья.

Кто он тебе — друг или враг?
(Какие четкие понятия!)
Встает задумчиво, но шаг —
И сгинул в дымные объятья.

...Бывало, тухнут фонари,
Ракеты шип и окрик сонный,
Не уходи — проговори
До той проверки и зари
Вблизи, вблизи запретной зоны.

А все же скрытный свет звезды
Счастливой брезжил над тобою,
И недостаточность беды
Становится твоей судьбою.

Года на выпусках монет,
Исчезнувших из обращенья...
История. От всепрощенья...
И до: себе прощенья нет.

5

Ах, боже мой, и все-таки я жил
Неизреченно и огня боялся.
И рифмовал счастливый звук: кизил
И палочки кизиловой касался.

И пережил завидную пору —
Не шелест ли услышав горний?
Безумные за мной носились корни,
Протягивая бедную кору.

6

Пришел точильщик в этот дождь несметный,
Тот, чьи круги, ты помнишь, не круглы.
«Кому точить» тонуло в море мглы.
Ушел корабль, как плот ветхозаветный,
И рубкой служит крепость Кер-Оглы.

* * *

Опавших листьев ворох прелый
Передохнув, перемахнув...
Вдруг женский локоть загорелый
Явила бабочка, пархнув.

Но расцепившееся слово
Иным движением полно:
Оно несчастьем здорово
И только радостью больно.

* * *

И скрипнул лес, как скрипнула кровать.
Кровать пружинная лесного бога.
Правее в гору — древняя дорога,
Дымок отшельничества. Благодать.

Осколки сланца черны, как пластинка,
То записи умолкших голосов.
А может быть, поющая тростинка
И шлепанье домашнее подков.

И впрямь, и впрямь магический кристалл!
Рождение мифа на конце дороги:
Там человек какой-то многоногий —
Замешкался и этим дубом встал.

Но нет, не то: внезапно сквозь завесу
Я вспомнил что-то. Замыкаю рот.
И лист тетрадный возвращаю лесу,
Туда, туда в немой круговорот.

* * *

Досмотр прост:
Ни выдоха, ни вдоха
А кажется, что губы не мертвы.
Еще немного северного моха,
Пожалуйста, еще чуть-чуть листвы!

У неба, неба снівшаяся синь.
Носилки неукрашенные узки.
...Да, день и ночь тому назад латынь
Еще могла торжествовать по-русски.

*** * ***

**В войну — Шопен шаги, шажки,
Телесный цвет. Еще прыжки.
В фойе из залы переходы.
У изголовья жмутся годы.**

**Вдруг вспомнишь старенький буфет,
Где граций чувственное трио.
Померк когда-то яркий свет,
Что освещал любой предмет.
Ушло. Теперь и музы нет
Мне соблазнительнее Клио.**

* * *

Джвари в ржанье лошадей,
Зеленеют круто скаты.
Эти лошади крылаты,
Словно стая лебедей.

Ангел, Джвари стерегущий,
Дай взойти на этот скат:
Слышать шелест иль жующий
Звук, умноженный стократ.

* * *

Конечно, нет духана углового,
Как самого угла — вокруг все ново,
Шарманщик мертв. А все же тень Майдана
В чужой асфальт впечаталась глухо...
Нет ничего от прежнего духана.
Как просто все. Вот юркая старуха —
Ей спешно перейти дорогу надо:
Купить в жару бутылку лимонада.

Полощатся в стеклянном барабане
Обмылки неба бледно-голубые.
Близка основа жизни к серной бане,
Явленья безыскусственны и четки.
Без выбора перебирай любые,
Как бедные пластмассовые четки.

* * *

Вновь дерево Иудино в цвету
Очутится над улочкой крутою.
Присядет чинно дева на тахту,
Окрашенную всякий год тутюю.

А под балконами наклон горы,
Чреватые подваламъ панели.
Дворы, дворы. Неведомые цели
Поэзии. Еще, еще дворы.

* * *

С утра авто копит, копит, копит.
Бледна рука воскресных канцелярий.
Но чу! Откуда цоканье копыт
И глаз коня божественный и карий?

Мелькают спицы, шины шелестят,
И тает, тает крепкий запах кожи.
И сыты ноздри, и глаза косят,
И на руку наматывают вожжи.

А чмокающий звук — не так уж прост:
Узорчата балконная решетка,
Со дна Куры встает Ишачий мост...
Куда же ты, куда же ты, пролетка?

* * *

И солнце, что похоже на луну,
Скользит тончайшим диском по туману.
Пойду еще раз на него взгляну
И думать о ничтожном перестану.

Наискосок — в небытие — лаваш:
Девчонка с ним из лавки побежала.
Скажи на милость, что еще за блажь —
Душа моя пророчеств пожелала.

* * *

Вдруг — тайной вечера примета —
В подвале нимбам несть числа.
Висят за чернотой стекла
Тарелки радужного света.

Конечно, тут мираж случайный:
На кухне керосинки жгут,
И вот — сияние и гуд...

А все же к трапезе той тайной
Они каким-то боком льнут.

ЧУГУРЕТИ

Какая тишь! А между тем гурьбой
Тут поколенья сыпались, как гунны,
Аэродинамической трубой —
В ничто, в какой-то рынок бестархунный.

А твякают потомки тех же псов,
Недолговечней детского румянца.
И нет у времени верней часов
Геологических — простого сланца.

КИНТО

И голова кинто среди булыжин —
Бритоголовых полчищ мостовой.
И звук шарманки влажный, гулевой
Собою упоен или пристыжен.

Застигнуто последнее мгновенье
В глазах открытых мертвой головы.
Шарманки равномерное круженье,
Сквозная тень колеблемой листвы,

* * *

Лежит собака на газете.
За нею темный двор ночной,
Склад угольный и дровяной.
Блестит трамвайный путь прямой.
Еще пожить на этом свете.
Лежит собака на газете.

* * *

Еще твои балконы виснут.
Петух двором ковровым стиснут.
Опять бесснежен новый год.
И странно слово вдруг: исход.

* * *

На Гончарной или на Кувшинной —
Смотрит оком мутного стекла
Комната над лавкой керосинной,
А напротив винная была.

Как на ум здесь не приходит повесть,
Пусть себе уходит в полусон.
Вот те на! Гляди, какая новость:
Пронесли пластмассовый бидон!

ВАРИАНТ ВСТУПЛЕНИЯ

Затем какой-то винный погребок
Влагал открытку дня в карман нагрудный
И поверял, что есть еще подспудный
Тут на востоке все-таки восток.

Он обольщал разгадкой ключевой;
Гляди же как-то искоса, но в оба.
Попробовать вина, какая проба! —
Рейд по аллее бочек дармовой.

И посвященный здесь не посвящен —
На бочках уголовные пометки.
И рядом инобытие: перрон
Давнишней, давней Кахетинской ветки,

Ступай себе нетвердыми шагами,
В манящих огонечках горизонт.
Глухой перрон усеян бурдюками,
И дама опирается на зонт.

Клеенка черная — ночная степь.
Пыхти, локомотив, — мы не отъедем.
Луну поярче, погремучей цепь!
Потешимся шарманкой и медведем.

Но продолжай; еще, еще пошарь!
У погребка глубокие карманы,

Там — по вагонам пронесли фонарь,
Тут — цвет рубина обежал стаканы.

Вид потолка безумен и нелеп.
Вверху, как ангелы — вниз головами
Ныряют пекари за лавашами,
Так будь благословен, грузинский хлеб!

...Пропала дама, и фонарь потух,
Исчезло бурдюков столпотворенье.
Но отпугнул их вовсе не петух —
Тут он и сам, пожалуй, привиденье.

Но, как положено, из тьмы пропев,
Азийское он вызывает утро.
Ах, до чего ты, солнце, чернокудро
И желто, как у Пиросмани лев!

Поэзия, похожая на тост,
За призраками юности погоня.
Зачем еще ты сохраняешь мост,
Тот зыбкий, зыбкий в царство беззаконья?

Когда-то, много лет тому назад,
Там, под рекою облаков летучей,
Ходил баран, нагуливая зад,
На привязи у проволоки колючей.

На деревянной вышке часовой,
Где полоса уже недостижима.
«Баран, баран начальника режима,
Тебя кормлю отборною травой.

И листья дефицитные в охапке
Несу тебе по окончаньи дня.
Замолви же словечко за меня —
Пусть поваром назначат на участке».

Так разглагольствует чужак один,
Без блата в административный флигель.
Кто он? Наполовину Насреддин
И чуточку еще — Тиль Уленшпигель.

Но сразу: рельсы, зарево огней,
И, навсегда меня опережая,
Уносится в ночи судьба чужая,
Скользнув случайной тенью по моей.

...Как добрый знак, что верно выбрал бочку —
Вскипает хор за частоколом спин.
Прости мне, виночерпий, проволочку
И наполняй подставленный кувшин.

И пусть к вину ты добавляешь воду —
Как лес в лесу, есть у вина вино,
Но каково на вкус, и что оно?
Мелькнуло так и кануло по ходу.

Из книги «ЧТО СТОРОЖАТ НОЧНЫЕ СТОРОЖА»

«Восторг души первоначальный».

А. Блок

1

Мы к яблоне тянулись белой
Средь звездной августовской тьмы,
Но, руки вскинув, оробели, —
В картину вписывались мы.

Незримые тянулись нити
И — петлею вокруг колен.
Быть может, на своем Тацти
Нас предугадывал Гоген.

2 АТЕНИ

А тут ущелье — снег не снежный —
Цветеньем персиков течет.
И опыт поцелуев прежний,
Как и тогда — уже не в счет.

И ты неверный или верный —
Ты вешним миром взят в полон,
Где в каждом камне — торс Венеры.
В коряге каждой — Аполлон.

3

Вот так предвосхищать возможность
И не уйти в тот свет и тьму.
Как легким взмахом острых ножниц,
Перерезающих тесьму.

И, распадаясь на две части,
Уже не связана она.
И, может, в этом-то и счастье
Так пить и никогда до дна.

Так никогда до дна, как горе,
Как звездопад, как водоем,
Так в небо ствол и в землю корни,
Чтоб никогда не быть вдвоем.

И сохранять смешную верность
Повсюду, где не ступим мы.
Пока не втянемся в поверхность
Без высоты и глубины.

4

А нелюбовь моя вещает —
Ей вдруг беда любви ясна.
Бессонницей так освещают
Таинственную сущность сна.

Еще свободен и с любую
Зло различаю от добра.
Еще я не задет любовью,
Но белый локоть у ребра...

5

Я колдовал над лугом, и проплыли,
Как диски солнца, капельки росы.

И совершилось чудо. Без усилий
Разъединил я время и часы.

И вот уже деления по краю
Бессмысленны. Во сне и наяву
Часы с потертым ремешком швыряю,
Швыряю их в высокую траву.

6

Поток несется темно-бурый,
А был когда-то голубой.
О голубая Сакаура,
Что ты наделала с собой?

Мне не забыть, как в пене звонкой,
В отпрянувшей голубизне —
Ты диковатою девчонкой
Явилась на мгновенье мне.

Пусть дождь идет и небо меркнет,
И ты уходишь сгоряча:
Незримо над Рачою Верхней
Сияет Верхняя Рача.

7

Был час, когда молчат легенды,
Но горы в горьковатой дымке.
И водопад замолк над бездной,
Остолбенелый, как на снимке.

Над полуночными пирами
Звезда погасла и притихла.
Но что же двинуло горами,
Какая цель, какая прихоть?

8

Сон идет. Но вот его граница
В сне самом становится видна:
Этот человек ей только снится,
Это просто человек из сна.

Он веселой синей бездной правит,
Все законы тяжести поправ.
Ничего не знает он о яви,
Надо объяснить ему про явь

Ты убить, убить меня попробуй,
Пусть кошмар взовьется ножевой,
Я воскресну, я проснусь! Но доброй
Человек мотает головой.

Не понять ему, что значит сниться,
Но и мы не растолкуем сны.
Может быть, у снов еще граница
И с другой какой-то стороны?

И его ждет где-то пробужденье:
Жаркий холод. Леденящий жар.
Громыханье тишины. Скольженье
Одичалых, щупающих фар?

9

М. Ц.

Я руки простирал, пустые горсти.
Вплывала всяческая суета.
Но оставались, оставались версты
И только версты, и одна верста.

Одна верста! К путям не приложима,
Не ею обозначены столбы.
Она одно нашептывала имя
И раскаляла стынувшие лбы.

Одна верста! Казалось бы — химера,
А свет ее доселе не померк.
Одна верста! Бессмертнейшая мера,
Забытая.

Средь эталонов мер.

10 МЦХЕТА

Воспоминаний дым негорький
Давно уснувшее будил,
Пока старик святой Георгий
Вино из бочки гнал в бутыль.

Он горбился над шлангом длинным,
И влага медленно текла
По чуждой темноте резины
В среду инертную стекла.

Был смысл во всем. И этот голый
Стол предрекал переворот.
Сейчас он явит новой школы,
Как озаренье, натюрморт.

День угасал. Мы все сидели,
Хоть к цели ехали иной.
Прости меня, Светицховели, —
Так море чувствуют спиной.

В подвале пело и плескало.
Он весь дымился и вставал,
Чтоб предложить свое лекало
Чертить единственный овал.

Но издали роились звуки.
Не исчезайте, я иду,
Бегу, лечу, мои дудуки,
Ду-
 ду-
 ки,
 дуу...

11 УРОКИ БЛОКА

Светающий кристаллик соли
На отплывающей корме...
Мерещится мне песня Сольвейг
В изменах царственных Кармен.

Той совмещенности доверяюсь,
Опять замру, чтоб только лишь
Услышать снова черный веер
Сквозь дальний, дальний посвист лыж.

12 БЕЗ ПОСВЯЩЕНИЯ

1

Смешно, смешно. Седые мастера
Короткой стрижки и одной гребенки
По капельке из вечного пера
Заимствуют у той девчонки.

Но лица их не дышат добротой
Под маскою отцовской укоризны.
Все снится им, что нет девчонки той,
И цвет из живописи изгнан.

А девочка идет себе. И луг
На улице. Та улица далеко...

Над головой ее неяркий круг.
Тот круг, что некогда у Блока.

2 ЕЛЕНА

Тут ни при чем любое имя,
Ты — символ, ты — похищена.
И потому для глаз незримо
Идет Троянская война.

3

Как эта птица неуклюжа,
И все-таки она летит...
И нас внезапно леденит
Какой-то первобытный ужас.

За стойкой аэровокзала
Мы отвлекаемся вином.
Но в измерении ином:
А что еще она сказала?

Да, что сказала ты, пока
В явь обращалась та утрата
От кассы к выгнутым бокам
Моторизованного трапа?

Там, в том пространстве тишины,
Лишь голос твой сквозь дыма клубы,
Глаза твои, как два Колумба,
К открытиям присуждены.

И ты сказала: этот круг
Впервые горизонтом назван.
Какой почет нам в нем оказан
Тут, в центре, нежный выдох — друг.

Да будет пафос. этот свят,
Мы на него имеем право.
Тут, как травы доверье к травам,
Его не смоем дождь и град.

И разве расстанемся мы?
Прикинув к окнам, дали тают
За те горбатые холмы,
За горизонт не улетают.

13

Шар земной и Хлебников бездомный,
Без него — бездомный шар земной.
Есть кому и некому напомнить
Эту связь бессвязности самой.

14

Путь цыган лежит через «Самайю» —
Через самый летний ресторан.
Ничего в путях не понимая,
Поднимаю за пути стакан.

Ты, цыганка, из какого века,
Чьи упрямо бережешь черты?
Хоть и бродит до сих пор Алеко,
Не похожа на Земфиру ты.

Ты могла бы заплатить по счету —
Все расчеты для тебя легки,
Но Верховное, должно быть, что-то
Предрешило клянчить пятаки.

Разве помнишь ответ той отчизны —
Блок, вино, отдельный кабинет?

Ты идешь по спуску Элбакидзе
«Синька-лила», «Лезвие Жилет!»

Я гляжу тебе печально вслед,
У печали легкий привкус киндзы,

15

Это шарики красной эмали
И янтарные капли смолы.
Это дикие сливы ткемали
Так наивно глядят со скалы.

Только как у обрыва не ахай —
Невозможно всего описать.
Я хочу, миновав Барисахо,
В Шуапхо по тебе заскучать.

Я хочу только малости малой —
Для тебя в необъятном окрест —
Сотворить тот единственный жест —
Протянуть на ладони ткемали.

16 ИЗ ПОЭМЫ

«МОЛЕНЬЕ О ЛУЖАЙКЕ»

1

Вот марсианский аппарат,
Мерцающий луженой медью,
Пока к звезде летать он медлит —
В сосуды водку капать рад.

Языческое пляшет пламя
Под аппаратом у реки.
Зачем неистовствует память,
Воспоминанью вопреки?

Моя вина... Что ж мимо, мимо.
И губы не произнесут
Далекое простое имя.
И чача капает в сосуд.

2

А в дне другом — то хрип, то стон —
Бог музыки вершит вендетту:
По всем кустам волочит ленту.
И жрет ее магнитофон.

Воинственный затеяв пляс,
Пугая бодростью и мощью,
Бог вне себя — младую рощу
Пятью динамиками тряс.

Он затаенно жаждал: «Пусть
Один лишь слабый жест протеста —
И ливнем_благостным оркестра
Омою тотчас каждый куст!»

Но бунтаря не обнаружив,
Одну пластинку вертит бог
И оскверняет свой чертог
Самоубийственным оружием...

3

Карниз, кивок, каприз, балкон —
Все это далеко, в Тбилиси,
Где средь скамей на самой выси
Скамейки не находит он.

Что ж, улетай, взмахнув плащом.
Лети, но нет и нет прощенья...

Пусть трижды перевоплощен
Ты чудом перевоплощенья —

Все та же была во всем видна,
Нет лишь слезы — нуждой, горючей:
Машина времени горючим
На весь отрезок снабжена...

Замри, хранительный инстинкт,
Изведай прибыльную убыль.
Возвышенно поет тростник,
И шепчут шепчущие губы:

Самим собой не будь, не будь,
Сверни житейские хоругви —
Рассеянным и близоруким
Переходи трамвайный путь.

4

Взамен приправ — щепотка рельс
И дымной дали дымный пояс.
И старый кахетинский поезд
Уйдет в осенний пьяный рейс.

О, только так и нужно ехать,
Когда минувшее — маршрут.
Я, вопрошая, ворошу
Давно умолкнувшее эхо.

Оно в покинутых депо
Тоскует, но тоски не гасит,
Лелеет ржавые каркасы
И помнит сквозняков тепло.

Рукой прозрачной тронет грозди,
Висящие на полках в ряд,

Соединяя виноград,
Свисток кондуктора и звезды.

И что-то тянется по полю,
Огнями встречными манит,
Притягивая, как магнит,
Свой противоположный полюс.

Ты тут, далекая, седая,
Покоишься вне берегов,
И крупно звезды оседают
На изоляторах столбов.

Свеча. Наплывы темноты
Бегут по бурдюкам на полках.
Овеществленье пустоты.
О только тут и так и только —

Пока на всех своих порах
Состав плетущийся не станет.
Тьма. Подустанок и пора
Не мифов ли о мирозданьи?

Но где же я? Еще так рано.
Ты на лужайке. Ты пришит
Воздушно к воздуху. Охранно
Растет поросший мхом самшит.

Уединенье в сто охватов
И треск трескучих хворостин.
Откуда запах горьковатый?
Так мог бы пахнуть керосин.

Ужель Команда Огневая
Бредбериевщины фантом?!
Бредбериевщины фантом?!
Бредбериевщины фантом?!

Нет, это маме наливает
Наш керосинщик в Наш бидон.

Как он забрел в эпоху газа,
Усовершенствованных плит?
С тех пор не слышал я ни разу,
Как примус воеет и палит.

Мир довоенный, мир покойный.
Отец и мать... Но погоди,
Зачем тут вынырнул конвойный
И Вóлогдою окатил?

Так головой своей повинной
Вступаю под зеленый свод,
Предвосхищая хоровод,
Как в фильме «Восемь с половиной».

* * *

Кастрюля и звезда — едины.
Прости наивный сей монизм.
Душа уйдет под звон монист,
В немые впишется картины.

Я знаю, выбирать нельзя,
А выбрал бы себе заранее
Картину кисти Пиросмани,
Где кутят старые князья.

Оттуда будет ближе лето,
Как мирно катится оно!
И шелестят тугие тенты,
И пьют, и пьют в жару вино.

И мимоходом — череда
Корзин плетеных с дымной шерстью.
Я прошепчу чужому сердцу
Пароль: Кастрюля и Звезда.

МАНГЛИСИ ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ

1

Дым-камень или камень-дым,
Немного каменного дыма —
И путь все там же проходим,
Где та же грязь непроходима.

И заколочен старый дом —
Я вспомнил возле тех же сосен.
В разгаре лето тут в былом,
И длится в настоящем осень.

Снисходит тишина окрест —
Все та минувшая, бывшая.
Лишь протрубит вдали оркестр —
И девочка стоит пылая.

И тот не тот же верховой,
И глухо цокают копыта
По мостовой не мостовой,
Что крепко-накрепко забыта.

То — Старый, это Новый Свет —
Соседних роц номенклатура
Давнишняя. Да оклик: Шура!
А ни меня, ни мамы нет.

2 НЭНЭ

Голова у хозяйки седая,
Но коса, как и прежде, черна.
Не коснулась косы седина.
Знать, была и Нэнэ молодая.

Оседание поднятой пыли.
Глаз внимательных добрый прищур:
И дымится уже чахохбили
В танце двух обезглавленных кур.

3

Тут веет тихая отчизна
Сожженной частью «Мертвых душ»,
Царит идея планеризма:
Лети над синью диких груш.

Стремглав почти касаясь грядок,
И ввысь — к прощальной близи гор.
И крен — следы минувших радуг —
Планирую — какой простор.

4

Ночные ласточки с собой
Уносят блещущие дачи.
Луна меж туч и дождь слепой,
Какой-то внеземной и зрячий.

Все бег, все бег — дождь и луна.
И только медлит Маргарита.
И рукопись не сожжена.
И шапка мастера пошита.

Я пить готов под плач зурны,
Должны же где-то быть духаны.
Не виноград, а свет луны
Пролит в граненые стаканы.

5

Алгетский камень, чистый, как вода...

С. Чиковани

По-над водой твое лицо,
Легко относит солнца пламень.
Смотри: скала рождает камень —
Почти готовое яйцо.

Снесет, тогда прицелюсь метко,
В тебя швырну невесть за что,
Речонка с челкою — Алгетка,
Лет через сто, лет через сто.

6

Под соснами, где детский сад шумел,
Теперь темно и полустрашно стало.
Какой-то звук — и тень каких-то тел.
Позвякивало, крылось, трепетало.

Все это оказалось конем
На привязи, полулуной облитым.
Ладони, задержавшейся на нем,
Ответил он движением сердитым.

А хочешь, крепче повод притяну,
Заботы каждодневные избуду,
И ты со мною на коне — в страну,
Где никогда не нужно мыть посуду.
Спи, конь.

7

Знать, клещи есть на эти гвозди:
У августа воруют звезды,
И неизвестно, кто тут вор.
Свод, управляемый сверчками
И глухо чувствуемый псами,
Ведущими бессильный спор.
А мы? что мы? На небе звездно,
Но поздно все! и просто поздно.
Редеет огородный мрак
С Тельцом, Курятником, Лисою.
И есть название смерти: Рак.
С клешнею смерть, а не с косою.

8

Провинция. Автомобильный
На бочке пиво жмет насос.
Он хлещет пеною обильной
И к давней давности прирос.

А помнишь ли, насосы эти
Когда-то были желтой меди.

Скажи — нехитрая примета,
А в год какой ведут тропы́
По воздуху. И держат лето
В полях магнитные снопы.

К земле по твердости спортивной.
Прилечь щетиною седой.
Дни в день сложились непрерывный,
Не слышу скорости земной.

Ты спрашиваешь: где кастрюля,
Как спрашивают про звезду.
Звезду, летящую, как пуля,
В небесном ковшике найду.

Клубится что-то, звезды сея,
Во тьме колышется густой.
Плащ Гамлета и Одиссея.
Не стой под звездами. Пстой.

ОТХОДЫ СТИХОТВОРЕНИЯ „МАРГАРИТА“

...Это там на исходе эпохи
Заокраинный чертополох.
И дудуки протяжные вздохи,
Как один нескончаемый вздох.
Под ногой никакие не бездны.
Жизнерадостна вывесок жесть:
Обещает и кличет: «Любезный!
Тут, что жаждет душа твоя, есть».
...Перед смертью утешить нас нечем,
Все же прав был какой-то индус:
Снова в облике мы человечьем
Будем лихо закручивать ус.
Сообщающиеся сосуды —
Даже смерть не подводит итог:
Дух захватывают амплитуды —
С каждым разом — все выше виток.
Не вернемся в разряд насекомых,
Дождевых и могильных червей.
И теперь вспоминаем знакомых
В веренице Кутящих друзей.
На лужку с переполненным рогом,
Простоваты и мудры на вид.
Почему-то о милом и многом
Полотно это мне говорит.

Будто в тосте они завещают
Усложненья пустые избыть.
Нужно, все что ни есть упрощая, —
Углубить. Упростить — углубить.
Пусть знаток усмехается криво,
Не услышав привет и призыв
В неподвижности той «примитива».
Так да здоровствует же «примитив»!

КУБАЧИНСКИЙ ОРНАМЕНТ

1. МЕДАЛЬОН

Это светятся сами потемки
Там, на грани забвенья почти,
— Что несешь в ненесомой котомке?
— Я несу Кубачи в Кубачи.
Здравствуй, медное в черном нагаре.
Я тебя по ошибке отверг...
Кубачи на воскресном базаре,
На воскресном базаре в четверг.

2. ОРНАМЕНТ

Длинный клюв на солнце золотится.
Что такое? Не упасть ли ниц?
По дороге человекоптица,
В черном фраке — человекоптиц.
Как же от аула отлепиться,
Для чего мне покидать аул?
Но мелькает человекоптица,
Человекоптиц уже мелькнул.
Белый плат опущен до бровей,
Оглянись, несущая кувшины, —
Твоего коня увел с вершины
Красный человекомуравей.

3. ПОСЛЕДНЕЕ

Поглаживать колючие плетни,
На языке прощаться онемелом.
Бесповоротно дни теряют дни,
Теряясь целиком и оставаясь в целом.
А свадебный светильник не зачах —
По краю кровель реет без опаски,
И где-то Лувр, тоскующий по маске,
В которой черт танцует в Кубачах.

4. ТУМАН

Идут колеса валко, шатко.
Стучит подкова — талисман,
Скажи, что думает лошадка
Плетущаяся — про туман?
Вот тает, тает — не горелый
Ли это рощи ералаш?
Сплошной туман, молочный,
Рисует черный карандаш.

5. АМУЗГИ

А что сейчас на той поляне —
На серебре ее резьбы?
Птенцы иных планет — дубы,
Нахохлившиеся в тумане.
Как от невест белым-бело.
Я вижу с точностью последней:
Небрежно брошено седло —
Единственный предмет передней.
Позвякиванье мелюзги.
Молчанье крупное — чеканно.
Как прежде б крикнуть: А-музги!
О Амузги! — в наплыв тумана.

СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ

1

Электрик был недолго болен
И умер в час, в три похоронен.
Помощник до смешного мал —
Какой-нибудь Кемал, Камал.

Светоначалником по праву
Он стал и плачет от души.
Свети, мигай, мигай Джейнаву —
Как крылья бабочки маши.

2

А пыль Хивы до самого Китая
Уж не благоухает так.
И в воркованьи призывк лая,
Порханье голубей-собак,

Мечеть, как платье, износилась.
Торчит с тряпьем линиялым шест.
Старуха не перекрестилась,
И вечен омовенья жест.

3 САМАРКАНД

Кроссворды изразцов до одуренья.
Но кирпичом люблюсь поливным,
У зрячих лиц слепое выраженье.
Четырнадцатый век. Биби-ханым.

А мне читать названия не надо,
Как будто память и без них смогла б
Припомнить вдруг названье Самарканда —
Еще одно — древней: Афрасиаб.

4 БУХАРА

Свистит какая-то свистулька,
И еле слышно бубен бьет.
Невдалеке от переулка
Гнездо, представьте, аист вьет.

Пристроился на мертвой ветке
И на одной ноге стоит.
Старуха жалится соседке:
И тут, и здесь, и там болит.

Все то, что минуло, подспудно
Теперь живет для молодых:
Свистулька свищет в ухо бубна —
Не для тебя — для них, для них.

А солнце древнее востока
Немилосердное, палит,
Как о Венеции у Блока
Писать о Бухаре велит.

У Бухары радикулит,
Она скулит,
скулит,
скулит.

Описания вне описанья,
Видно, этим стихи хороши.
И пьянят, будоражат названья —
Скажем, город какой-то Карши.
Тут автобус набит до отказа,
И чадит перегретый мотор.
В тесноте — для стиха и рассказа
Открывается скрытый простор.
В незнакомом знакомые грани,
И реальность разит не разя.
Чту доподлинность — ту, что заране
Предсказать и придумать нельзя:
Не средь трав и растений спаленных
Мавзолеи небесной красоты,
А на туфлях моих запыленных
Две сплетенные туго косы.
Две сплетенные туго косы...
До свиданья, подросток, узбечка.
Я заветное знаю местечко
У запретной почти полосы.
Близ базара торговля ножами,
Что, как бритва, преступно остры.
Дождь акаций и плов над кострами.
Устилают веранду ковры.
Уголовники ходят, хмелея
От объятий неверных подруг.
Черный ворон кружит по аллее,
Замыкая назначенный круг.

6 ПУСТЫНЯ

Разная — такая лишь отсюда,
И другая из других купе.

С верхней полки — с высоты верблюда,
Что могу сказать я о тебе?

Сожжены на яром солнце тени.
Отстраняю от окна лицо.
Но прекрасней ивы деревцо
Над песком склонилось в изумленьи.

Маревом исходят рубежи,
Что-то там готовится заране.
Очевидцы лгут про миражи —
Только женщина на том экране.

7 ВООБЩЕ

А в пустыне не мучила жажда,
Открывалась такая страна,
Где повсюду, под деревом каждым
Притаилась в тени чайхана.
Неподвижны деревья-тихони,
И халаты пестрее цветут.
Что там тискает каждый в ладони,
Что, блаженно зажмурившись, мнут?
Вот приму беззаботную позу,
Пусть пиалам теряется счет.
Я узнал: этот тискает розу,
Этот птичку какую-то мнет.
Не какую-то, а перепелку,
И ладони, как воздух, легки:
Вертит птица головкой сквозь щелку,
Выпрямляет цветок лепестки.

СЛОБОДА

1

Тут всегда с утра — клоака,
На закате же, однако,
Драгоценный вспыхнет ларь —
Серебро в нем и янтарь.

До чего же он могуч,
Предзакатный солнца луч!

Позолочены ступени,
Луч над ямой ворожит.
Ночью сторож сторожит
Всякие такие тени.

Не обидит даже муху,
Как он в сторожа попал?
И ни слуху, и ни духу —
Что пропало, кто пропал.

Удивительное место
Явно явлено тайком.
Хорошо идет невеста,
Но закуталась платком.

Может, что-то не готово
Там из серебра литого...

Настигая, застигая —
Забормочешь без ума:
Вот она — не та, другая;
Та, не эта же — сама.

И до самого рассвета
Не узнаешь ни черта:
Эта самая — не эта,
Та же, эта же — не та.

И еще звезда мигала
Там посередине дня.
Как по лестницам Шагала
Косолапится ступня!

2

Отправляться грязным не годится —
Смоем несмываемую грязь.
Маленькое, кажется, корытце,
А по росту всем оно как раз.

Вот жена забилась, зарыдала.
До свиданья, ухожу во мглу.
Оставляю дома одеяла —
Те цветные стопкою в углу.

Что уже? И ширь все уже, уже —
Ужас — шире — только посмотри —
На корыто черное снаружи,
Оцинкованное изнутри.

3

Но ты в чужую комнату проник —
На улице такое ощущение.

И уличный светильник тот — ночник,
Он задержал девичий быстрый лик
И оправдал себя как освещенье.

А в воздухе примысль себе растворы —
Торговые палаты наконец.
Идешь, ничьи не наполняя взоры,
Ты кто? — ни покупатель, ни купец.

Ну, а товара много меньше позы —
Ни чайханы, ни дыма шашлыков.
В руке горит, напоминая розы,
Пучок — букетик красный петушков.

И косо все, да крепко так, что силы
Не хватит выпрямить и распрямить.
А вот моих ровесников могилы —
Древнее нет. Запомнить, позабыть.

Тем более, тем менее востока.
А мост какой-то, этот — замечай,
Что делит он по ширине потока.
И имя дикое — Кудиялчай.

4

Так отыскался, значит, след бесследный,
И выброшенное нашло приют.
Не исчезали, тут они как тут —
Будильник ли, ведро ли, чайник медный.

Собрался вновь, рассыпался кирпич,
Из глины и соломы тот саманный...
А мальчик на осле. И берег вон желанный —
И с солнечным пятном его достичь.

* * *

Когда же это было? Снег и город Они.
Вокруг стола раввин и девять дочерей.
Снежинки, за окном все гуще, все быстрей,
Но линии любви нет на моей ладони.

Но линии любви нет на моей ладони.
Теленок под столом Гудит в печи огонь.
Сиянье, теснота. Благоуханье вони.
И гладит, гладит шерсть с ладонями ладонь.

* * *

Некое подобие духана.
От шарманки не смертельный ток,
Господи, начало дня! Цисана, —
Девочка-скакалка — прыг да скок.
Не глядеть бы мне наискосок.

* * *

В соседней комнате шуршит газета:
То мой отец за письменным столом.
Как он нашел дорогу в новый дом?
Я на его могиле не был с лета.

А капающий кран квартиры бывшей
Сюда, почудилось, перенесен.
Неявленная явь, бессонный сон
Владеют темнотою обступившей.

За ставней свет карающим мечом.
Окинь, покинь, как при аресте, вещи.
Какой ни есть — в них все же след мой вещей.
Вернусь и я с каким-нибудь лучом.

* * *

Единственное чтение — Дюма!
Что может быть волнительней и ближе,
Чем сцена, где прощается с Парижем
Граф Монте-Кристо с ближнего холма.

Он видит мельтешение огней
И ждет от неба знака или вести.
А крест все тягостнее и трудней
Переступившей все границы мести.

Не той эпохи несколько минут —
Куда — откуда грозовая нота,
Все штрих один определяет тут,
И красный свет, как при проявке фото.

И вечен холм над городом, где кто-то
Прощается навек. А кони ждут.

* * *

И оказался вовсе не огромным
День, названный аэродромным.

Лелеемый — он ничего не мог.
И небом был богат и светел,
А бога не было — при чем тут бог:
Я никого не проводил, не встретил.

«Обедал на вокзале одиноко», —
Есть в дневниках у Александра Блока.

В буфет современный, как салоны «ТУ»,
Увязла одинокая свобода
И не вписалась в обстановку ту.
Извозчика б тринадцатого года,
Казанского вокзала пестроту!

А впрочем, клеветцу: прошли в окно,
В толпе пропав, те голова и плечи,
И говорю: вокзалы — место встречи,
С кем встретиться уже не суждено.

Что летный день! — а вот не может в сад,
Там дождь идет который год подряд.
И мокрые подсолнухи.

ИЗ „АХАЛЦИХСКОГО ЦИКЛА“

1

Видно, снег повалит скоро,
С гор и неба занесет,
Вардзию — пещерный город
Испытаю на полет.

Будут каменные соты,
Пустота пустых мешков.
Кельи, кельи. Где ты, что ты?
Чудно-чуждый шум веков.

В этих каменных корытцах
Спелый колос каменел.
Тут конюшня, там светлица —
Невнимательно смотрел.

А отсюда брали воду.
В тьме кромешной медный свет,
Никаких к экскурсоводу
У меня вопросов нет.

И на грани отверденья
Фрески лавою текут.
Всем все ясно: то — Успенье,
А правее — Страшный Суд.

Только в жизни отстоящей
Не найдется места мне.
Что же с Вардзией летящей
Делать в зимней вышине?

Ясность божья каждой вещи.
У меня — туман, туман.
...В звуке «Тмогви», что там плещет?
Виноградным звуком пьян.

2

Сам бог или его престол?
Целую каменный подол.

Напротив солнца и лазури
Скала летящая темна,
Все ж кладка крепости видна.
Заснул в траве. А что Ацкури —
Не божество ли это сна?

Но есть жестокость линий резких —
Теперь воздушности сродни
И жутки мне былые дни.
Домашний лай собак турецких...
Верни мой поцелуй. Верни.

**Обугленных желудков черноту
Позолоти своим подарком, хаши.**

Б. Ахмадулина

*** * ***

**На хаши! Хаши! Ты была
Так весело им одержима,
Себя стремилла и вела
Стремглав к нему, но как-то мимо.**

**Вставала хашная заря —
Лишь свет мерещится в окошко:
Так почему же медлит ложка,
И жар опять упущен зря?**

**В названьи хаши — вся основа.
И золотился этот сок
С первоначальной силой слова.
Ты пригубила сам исток.**

**А мне привычна деловитость,
Что хлеб над чашею крошит,
И эта мрачная несытость,
Когда уже по горло сыт.**

**Теперь не то... Но отзвук дней
Былых волной встает в накате,**

Шуршит в прозрачном пластике
Все тише, тише, все слышней.

Стаканами ли с чесноком
И чернотой полотенца...
Старуха там над сном младенца
Стоит с гремящим молотком.

Трава — на негативе — снег —
Все валит, валит — не пробиться.
Прозрачны легкие копытца,
Неудержим печальный бег.

А хашная освещена,
И сдвинуты пустые чаши.
...Так мне была возвращена
Извечная бесплотность хаши.

* * *

Решительно. Решительно во всем —
Зачатки прозаического бреда.
В хинкальную у Земмеля войдем —
За чьей-то стойкой — даже не беседа,

А: «Выпьем за родных!» — Столпы. Столбы.
Чудовища... Но дым и пятна света.
Так и начнем без помпы и пальбы
И, право, обойдемся без сюжета.

Прекрасная прислонена метла,
И застит взоры юбка курдианки,
И можно плакать и сжигать до тла
Какой-то давней лирики останки.

Все, все о быстротечности трубит,
Но спрятаны и не мешают трубы.
И с каплей на носу старик сопит,
И жалко шлепают по тесту губы.

И проза допускает без труда,
При этом не задев правдоподобья,
Младую ведьму привести сюда,
Она вокруг посмотрит исподлобья.

А ты чужой. Порхает карандаш.
Какой-то тип. Невнятная описка.

На ша́баш приглашенье, на шаба́ш —
В кармане обнаружена записка.

...Кого-то ждут. Накрытый стол. Вино.
Скрип галереи. Тишина. Просветы.
А в лирике по-прежнему темно,
Недаром к прозе тянутся поэты.

В САДУ

Но в этом гиблом и прекрасном месте.

Как всякий год — открыт сезон, в котором
Сугубо мимолетен каждый штрих.
Цыганки канут, не задев подолом
Стиха, но что же, собственно, есть стих?

Цыганки тут весь день между столами;
Вот сдуло их, вот снова намело...
О, если бы переписать стихами,
Что прозой складывалось набело!

Жизнь в формах жизни: обнаженно-зримо.
Лей кахетинское, блаженно лей!
И женщина смеется: Ну-ка имя,
Цыганка, угадай за сто рублей.

Цыганка имя угадать не может,
Но не роняет марку ремесла,
Мгновенно карты веером разложит,
Что имя! Тень счастливого числа.

Какие волны разом набегали
И воскрешала рыб тархун-трава.
Бессмертна рыба в имени «цоцхали»,
Воистину и мертвая жива!

Неисчислимы лирики потери,
Итог приобретений невелик.
Ну как, скажите, распахнуть мне двери,
Чтобы вошел тот сухонький старик?

Его природа — чисто световая —
Питалась долго светом сквозь балкон.
Балкон открыт. Вблизи Куры кривая,
Кусок Майдана. Ветви. Полусон.

Он тут сидит, не изменяя позы,
Как бы в ячейке воска диких сот.
И льет, и льет благословенной прозы
Не вызывающий сомненья мед.

Ах день какой! Подробности за далью
Исчезнут, как за каменной стеной.
Что ж, лирика, пренебреги деталью
И задуши меня своей волной.

ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ

Марнеули... Марнеулиада...
Краем глаза, второпях, мельком.
Ни о чем повествовать не надо,
Можно и не помнить ни о ком.

Но бараньим шапкам подивиться.
Где они, начала и концы!
Только тучи пыли, лишь копытца
Градом сеют мелкие столбцы.

Марнеули как бы некой тайной
Жаром и овчиноюдохнул.
Я отпрянул — что же это в чайной?
Смена власти? Правят — Блеск и Гул.

Римский профиль в шлеме, гарь пожара,
Но, сюжет к сюжету не клоня, —
Там лишь два гиганта-самовара
Емкости троянского коня.

Ничего родного в юбках пестрых.
Нет и для прапамяти причин
Говорить о женщинах, как сестрах,
Братьев узнавать среди мужчин.

Так откуда столько ликованья —
Чай ли крепок крепостью вина,

Или же кольцо существования
Сузилось до этого звена?

Будто святотатство допуская,
Что стыжусь, робею у дверей?
Шапки. Шапошника мастерская,
В зеркале небритый брадобрей.

Замкнуты пастушеские были,
Хорошо на этом берегу,
Но томлюсь: происхожденья пыли
Объяснить разумно не могу.

И в разноголосице ни звука,
Что несут в завязанных мешках:
Для непосвященных — связки лука,
А для посвященных — тлен и прах?

Клан ли тут какой затеял жмурки,
И не разобратся, что к чему.
Я потом увидел, как фигурки
Поползли по ближнему холму.

Скрытая пружина эпопеи:
Вытрясли глубокие мешки —
И тотчас же медленные змеи
Выползли, клубясь вперегонки.

На базарной площади с флагштоком
В ясный полдень наступила тьма.
И в веселье сердца одиноком
Мир представился игрой ума.

Все сходились группами в столовой,
Ничего не скажешь: люд, как люд.
В толчее буфета бестолковой
Взяли что-то из дежурных блюд.

Медленно, не торопясь поели,
Пили пиво, виду не подав, —
Кто это они на самом деле,
Губы вытирали о рукав.

Сладко дремлет официантка Сона,
Милостыню требует костыль.
И вошел в меня из-за балкона
Луч закатный — Золотая пыль.

Я привстал тогда и на мгновенье
В Марнеулиаде потонул.
Что стихи?! Постыдное затмение.
Не даются в руки Блеск и Гул.

МЗИ

Где кошки старика теперь,
Что жили у него в камине?
Нет никого. Закрыта дверь.
И черных кошек нет в помине.

О, смерти легкий корректив,
Что вносится еще при жизни!
Бесстыдно смерть опередив,
Глагол уже справляет тризны.

Ведь я предвидел этот час,
С его свободой постылой,
Что будет право на рассказ
О старике дано могилой.

Лазурь, лазурь. Морской йод.
Волна на берег набегает.
Душа от скорби вопиет:
Старик в земле мой истлеваает!

Вот новости загробной мглы:
Пока судьба костей туманна,
Развязываются узлы,
Расчленены суставы пана,

Лесного, лешего — они
Уже на корни не похожи,

Голубоватые огни
Бегут в обрывках мертвой кожи...

И все же кончится распад,
Наступит равновесье вскоре.
Как близко к морю этот сад,
Но к дьяволу и к черту морей!

Ведь море не его Кавказ —
Вверху, ничем не знаменито,
Есть озеро — оно от глаз
В горах заботливо укрыто.

Неописуемой красоты,
У ледникового порога —
Оно, по существу, — часы
Заветные в кармашке бога.

Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп; тик-так, тик-так —
Но если вслушаться — ни звука,
И в центре странно светит мрак,
Мерещится подобье люка.

Куда-то вспять плывет оно,
И, поглотив из туч монетку,
Плашмя у берега на дно
Кладет играющую сетку.

Когда Великий Часовщик
На озеро внезапно глянет,
«Пора» — промолвит, и старик
По слову медленно восстанет.

И по следам былой стези
От козьих круч — к морскому шуму,
От озера с названьем Мзи
Старик мой спустится к Сухуму.

И вот им насаженный сад,
Где яблок красные планеты.
Как и столетия назад —
Меж листьев жгучие просветы.

И тут былое настает —
Какой-то миг минувший, четкий:
Лазурь, лазурь. Морской йод.
Я к старику с бутылкой водки.

Зачем писать о нем, к чему?
Смешно в той области старанье.
По разуменью моему —
Поэзия — вся — ускользанье.

СКРА

Ну так что же в названии Скра,
Что там мельком махнет вдоль перрона?
В чистом поле — кар-кар да кра-кра! —
Уронила когда-то ворона.

И отец мой привиделся мне.
Принимая Метехи за Ксани,
Он платком протирает пенсне —
Не ошибка ли тут в расписаньи?

Расписанья кружки и пунктир —
Было-сплыло и помнится еле.
Это целый таинственный мир,
Увозимый с собою в портфеле.

Но в пространстве, заученном от
Одного до другого местечка,
В веренице высот и красот
Обнаруживается утечка.

Смотрят недоуменно в окно:
Что-то не по порядку вокзалы.
И пространство, как память. Равно
В них обеих — провалы, провалы.

Каждый пункт непременно в провал
Угодил бы — без имени слабый —

Если б кто-то его не назвал,
Невозвратно он сгинул тогда бы.

...Или дальний тебе Дилижан:
Самосвалы рванули с насеста,
Но почтовый гремит дилижанс —
И названье сильнее, чем место...

Что за Скра, что за Скра, боже мой!
Встал отец над опущенной рамой.
Просто он торопился домой —
Там ведь я, остававшийся с мамой.

Каркай, ворон, пари, не горюй —
Уж сякая такая наука —
Этих строк, этих струн, этих струй —
В всеобъемлющей бедности звука.

* * *

Июль, июль — все те, кто побогаче,
Уже в тени благополучных Цхнет.
Блаженные, блаженствуют на даче,
А остающимся спасенья нет.

И снится ли, что ты на середине
Двора, тахтой не смея пренебречь,
Заснул, и вот в певучей мешанине
Обрушилась пленительная речь.

В ней серебрится чешуя паренья.
Вспоминанье. Детство. Лоскуток.
В ней был рецепт какого-то варенья
И эти голоса и голосок.

Так хорошо о ней никто не судит,
Нет в словарях семи ее основ.
И кажется: вот-вот она разбудит.
Но спишь ли ты или заснуть готов?

* * *

Сентябрь. Сентябрьские утечи.
Так сгинь и пропади в толпе.
Как описать базар — орехи
С проломом рваным в скорлупе?

Собрание мыслящих извилин...
Иль рук мозолистых печать?
Но все равно язык бессилен
Увиденное воссоздать.

И дева вдруг с волной. Глубины
Разверзлись, и исхода нет.
Что может лепет голубиный,
Когда необходим сюжет!

От перца в воздухе багрово.
Отключено, отрешено,
Уходит восвояси слово,
Ведь не в увиденном оно.

Приправы, пряности, коренья
И тыквы небывалых форм.
Для птицы черной вдохновенья
Уже не продается корм.

* * *

Рисую вечные картины.
Арба тихонько проплыла:
Повез старик свои кувшины,
Огромные, как купола.

Я так люблю все эти вещи:
Ни взять, ни дать; ни дать, ни взять.
Но говорят — яснее, резче
Мне надо все переписать.

Дом — деревянное строенье.
Кружение листвы и лиц.
Реальность и воображенье —
В дому меж ними нет границ.

Им лирика владеть могла бы,
Но эпосу причастен он,
Рассчитаны его масштабы
Для свадеб и для похорон.

Просвечивают половицы —
Там снизу светится очаг.
Бесшумные отроковицы
Бесшумный устремляют шаг.

Гостеприимства шепот ветхий
И лень узнать — при чем тут мы.
Всю ночь протягивают ветки
К окну фонарики хурмы.

* * *

На миг один перед глазами —
И тут же вихрем пронесло.
Подумать только: Мукузани!
Село — вино. Вино — село.

О чем же дальше, если — мимо?
О том, что нам не суждена
И прядь струящегося дыма
Вина — села. Села — вина.

* * *

А что же помню я? Возможно — горы,
Ту линию седла между вершин.
И вот еще: вода впервые в поры
Вошла, и тоненько запел кувшин.

Кахетия. Кружится круг гончарный.
Улыбка гончара и торжество.
Почти в небытие — навес базарный.
И больше ничего, и больше ничего.

* * *

Самовары и чуреки —
Памяти веретено:
Люди, лошади и реки —
Перепутались навеки,
Перепутались давно.

Ночь. Гостиница. Невинно
Укрывайся и таись.
Дождь. Рыданья пианино,
Кутаиси... Кутаис.

* * *

Что ты можешь знать заранее?
Жди развязки и молчи.
Окна желтые в ночи,
Что там — поезд Пиросмани?
Три вагона, три свечи.

Хочешь проездной билет:
От Гелати до Баграти,
От Баграти до Гелати —
Сроком годный на сто лет?

* * *

А в качестве некой приманки —
Подбросишь таинственный свист.
Там некто — владелец шарманки,
А в прошлом лихой кларнетист.

Все войны, и войны, и войны;
И охи, и ахи: вай мэ!
И мама, и отчим покойный.
И дева в саду — Саломэ.

* * *

Две направленные фары
Дым уносят от костра.
Бары-тары, тары-бары
Продолжались до утра.

Недопитые стаканы —
А прекрасное вино...
Но прошли тогда бараны,
Пронесли свое руно.

Край Ясона и Медеи
Показался мне на миг.
Отшумевшей эпопеи
Шум ушей моих достиг.

СТРОФЫ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ

1

А что отражалось в рояле?
Кусочек ночного двора.
Что ж, если на нем и играли,
Не стоила свечки игра.

Я шел среди внезапного мрака
При мысленном блеске свечей.
Все ближе бродяга собака
К ноге норовила моей.

И Тютчева правильны очи:
Покровом он день называл.
Да, день, а не ночь, а не ночи...
И сколько же в дне покрывал!

2

Что ж это значило, что сниться
Мне отчий дом не стал —
В темнице снилась мне темница.
А мой сосед летал.

Сосед... Конечно же, невежда,
Невежда-простачок:
Все бабы: Вера и Надежда,
И вестник — паучок.

А между тем — стояли годы,
И стали в цепь времен...
Он прав: я не любил свободы.
Был глуп он, я умен.

*** * ***

**Даты, даты. Какие-то даты...
В серебре обреченная нить,
Крутит тормоз вагоновожатый,
Но трамвая не остановить.**

**Разве страшно: с открытой площадки —
Приседая и наискосок —
Наяву, как во сне, без оглядки —
Две секунды — полет ли, прыжок.**

**...Даты, даты. Какие-то даты.
Тут трамваи не ходят быстреей.
И захлопнуты воздухом сжатым
Обе створки глухие дверей.**

* * *

Зачем мы ходим по гипотенузе,
Где белые трамваи с низким лбом!
Что делать в них приятельнице музе,
Прописанной в пространстве голубом?

Соленый, сладкий пух, налет загара,
Но это не произносимо вслух.
Берут в полет пролеты Авлабара,
Где с адской серой смешан банный дух.

Что делаешь, что делаю? Взираю.
Седеющий пульсирует висок.
И я пишу стихи, зачем — не знаю.
Стихи, стихи, как некий адресок.

* * *

А все же что-то было, было,
И в летней полной темноте —
Движение происходило:
Летало платье в пустоте.

Оно имело весть благую
Подруге близкой передать —
Что он пришел, и вот вслепую
Два платья принялись летать.

Как над сковородой парило.
И он был я. И я был он.
И с кошкой дремлющей перила.
Тифлисский двор. Глухой балкон.

* * *

Оставь, оставь пустые страхи,
Возьми в автобусе разбег —
И — в позапрошлогодний снег —
В бульжно-пепельный Сигнахи.

Там башенка стоит одна
По правой стороне от левой,
Где у высокого окна
Толпятся дали перед девой.

В музее — уникам фонарь
В венецианском лучшем стиле.
А говорят — такие встарь
Тогда на улицах светили.

*** * ***

**Кораблик в море и в кафе серьга:
Сближалось все, что врозь и не похоже,
Но не соединялись берега —
Два одного по существу того же.**

**То лето выдыхает зимний пар,
А тут зима прельстительнее лета.
Постреливает гравием бульвар,
И нищенствует пес у парапета.**

**И кажется: еще я не встречал
Тебя — тогда: так эти волны брызжут:
Впервые слышу, как скрипит причал,
И самый блеск волны впервые вижу.**

**Так вот оно, великое нигде,
Во всем его разгуле и просторе.
Все время кто-то ходит по воде.
Ну что еще могу сказать о море?**

* * *

И были огромными эти крупницы
Минувшей, блаженной поры:
«На завтра обещаны синие птицы!»,
О господи, близ Бухары!

ПРОСТО

Заглохший сад. Старинный дом.
Звезда в пруду не гаснет, не дробится.
...Старинный том и в томе том
Когда-то, кем-то загнута страница.

* * *

Все меньше остается тех вещей,
С печатью рока, шепотком причуды,
С изъянами, как хрупкие сосуды
С водою солнечной дождливых дней.

На миг один светающая темень,
И скрыты вновь завесой гробовой...
Куда девать, кому отдать мне гребень —
Ах этот гребень, гребень роговой!

*** * ***

**Но я не вижу, чье это лицо
К зачитанному мной склонится тому...
Мой кабинет, как мамино кольцо,
Достанется кому-нибудь другому.**

* * *

Так суждено: за кругом круг опять.
Но как бы все по кругу ни крутило —
Тому что было — больше не бывать,
И лучшее всегда лишь то, что было.
А было так: закрой глаза — темно.
Темно, но свет единственный упрямо...
Высокое, высокое окно,
Где Буниным придуманная драма.

РАВНОВЕСИЕ

Все равно куда — что сперва, что потом.
Но всегда навсегда — только пусть:
Карусельный спуск. Винный подъем.
Винный подъем. Карусельный спуск.

ИТОГ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ

Хоть краем глаза, ну а зорче вдвое.
Все мимоходом, мельком, сквозь толпу.
Счел божьим даром зренье боковое.
...Он говорил про третий глаз во лбу.

БЛИК

Мимо церкви все той же Кашвети,
Где напротив хинкали с утра,
Приблизительно в девять без трети
Мне опять на работу пора.

Это — я, это — я — неужели?
Тут вот этот... И наперерез
Мне подали пустые качели —
Навсегда на секунду исчез.

* * *

Сидеть бы в кафе с большеротой
Той самой, которой б — коня!
А каменный храм с позолотой
Уже не прельщает меня.

Посадки мужской в ней до черта,
Прообраз в ней витязя груб.
То женственность высшего сорта:
Подуешь — тростинка, не дуб.

И противоречие это —
Всмотришь же! — сразит наповал.
Я шляпу отбросил, и лето
Пусть в мозг мой течет, как металл.

Пусть несовместимость другая,
Но только уйти бы от той,
Где тяга когда-то тугая
На ход перешла холостой.

ВИД ИЗ ОКНА

Летом тут город пустеет —
Становится, как в лесу.
Кто знает, когда темнеет,
В котором точно часу?

Любовницы это знают
На целом свете одни.
И лифты их поднимают,
И в комнату входят они.

* * *

Вот она возникает из пены,
Море красит ее во сто крат.
Как чудовищно одновременны
Твой рассвет, твой расцвет, мой закат!

Эта пластика — суть завершенья
Поколения нимф и богинь —
Не мое ли тут мудрствует зренья?
Погоди же! Нет, все-таки сгинь!

...Метафизика пены. Кипенье.
И две крайности объединя —
Ты, как море — мое представленья,
Независимое от меня,

* * *

Так ведь не было даже вначале —
Чтобы двое лишь: он и она.
Неужели вы не замечали —
Вам вторая она не видна?

И когда изгоняли из рая,
И когда... и тогда же вполне
Непричастная эта вторая —
Сердцевинная — там — в стороне.

ЭКСПЕДИЦИЯ

Древнее тут поселенье,
След его и ни следа.
Жажда моя и моленье
Чуда: тебя бы сюда!

Вместе бы в эти ворота,
Мимо остатков колонн...
Как золотит позолота
Солнца Дманисский Сион!

Нет, не Сион, а Сиони —
Так он точнее звучит.
Соединяя ладони,
Заново нас обручит.

Да возвратится сторицей
То, что пропало во мгле.
Впадины с черной водицей,
Помнишь, тогда на скале?

Это случайное ложе
Я вспоминаю с тоской.
Бледность смутившейся кожи,
Вынесшей плен городской.

Что, озабоченно рыща,
Все нумеруют слои?!

К плитам сего городища —
Только стопы бы твои!

Словно в раскопках таится
Скрытно живое досель
И в существе экспедиций
Тайно побочная цель.

И об одном эти травы,
Мыши и перепела,
Паперти и архитравы,
Крепости и купола.

НО НУЖНО ТУТ ТАК ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ТАМ БЫЛА СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК

Это говорит Рамаз. Я прошу его взять меня в Кахетию. Там, в городе Телави, у него родная сестра и муж сестры, который любит, когда он приезжает с друзьями. Магнит гостеприимства... В том доме, говорят, всегда особое, даже для Кахетии, редкостное вино...

Но как же ухитриться ТАК выбрать время? Вот мы ТУТ выезжаем в пятницу ночью, чтобы быть в субботу утром, но ТАМ, оказывается, среда — сестра не узнает брата... Новая попытка — в четверг — четыре часа езды на автобусе — а ТАМ вторник! Наконец, наугад выехав в воскресенье, мы попадаем в субботу.

Сестра торжественно идет к брату, протянув руки для объятия, за ее спиной раскрытые столы — все готово для встречи гостей. В завитых, гладких кувшинах — вино, помнящее долгие соприкосновения с шероховатостью квеври. Может быть, в самом начале вкус его не угодит вам, ведь в качестве образца вкусовая память берет привычные суррогаты. Но постепенно!..

...Ночной двор и освещенный светом из окна искривленный ствол орехового дерева. Поглаживаю его и вдруг понимаю, как можно привязаться к собственному дереву. Лица стариков у костра. Фантастический город тлеющих угольков. Чья-то свадьба. В переполненной комнате слепое время мягко тычется из угла в угол.

Керосиновая лампа внутри фонаря у железнодорожной стрелки. Кахетинская ветка... Кондуктор — Пиросмани. Где-то на складах ночи хранятся черные клеенки виденного им неба.

Вагон покачивается, и есть вино в гулких бочонках — таких маленьких на вид и таких емких в действительности (а впрочем, может ли быть бочонок достаточно емким?) С верхних полок свисают связки винограда, и есть полустанки, на которых можно сойти ночью в полной тьме под звездами прямо в поле.

А я бы продавал консервированный в банках дым домашних очагов — мегрельских, имеретинских, кахетинских!

Да, дым...

В ГОСТЯХ

— ...?

— Я верю в сны как в художественные произведения.

— Сон как рукой сняло, и во сне сняло рукою — это что — все одна и та же рука?

Хозяин сладко зевнул, гость вышел и стал прогуливаться по саду меж двух рядов цветущих деревьев. За оградой — луг с пасущимся конем.

— Что может прийти в голову в такое утро при виде полоски воды, обрамленной лугом?

Я видел озеро, стоящее отвесно (Мандельштам). И еще: Круглый луг, неживая вода (Ахматова). Вспомнил — как сотворил. Природа не может и шелохнуться без строки поэта.

Я ухо приложил к земле (Блок) — какая прекрасная буквальность! И он приложил ухо к земле — и сердце — терапия такая — тут в саду дор. мастера с переносными на балконе дорожными знаками: идут работы — объезд.

Дом. Сад. Пчелы. Цветенье. Низкорослые деревья. Деловое жужжание пчел. А горький запах откуда? Оттуда — от ореховых листьев — настой в воздухе.

И дождь перед дождем — яблоневого цвета — ураганный.

Капли первые в лоб, как в окно.

Женщина-Дон-Кихот ждет Россинанта в поле — она далеко — он еще дальше — белый на зеленом — она — оранжевая. И озеро, стоящее отвесно.

Гром. Гром покатыл. С чем его сравнивали до колесниц, до телег? — ведь не с чем! И колесо выдумали, и колесницу изобрели благодаря грому.

Поле опустело.

Не забыть бы, что трава в тот день была осыпана белыми лепестками.

Утро следующего дня. За оградой: всадник погнал двух телят. Луг. Пространство. Даль.

Можно ли живописать картину, уже созданную творцом? Но всегда о том забываешь при виде «картины».

Луг. Пространство. Даль.

Всадник погнал телят. Вот они все ближе — вырастают почти до реальных размеров. Всадник, сделав дело, — отогнав телят от засеянной части луга — в другую траву, — ускакал. Теленок остановился на почтительном расстоянии от гогочущих гусей возле серебрящейся нитки воды — словно раздумывая — страшно или не страшно. А другой трется боком об один из просыпавшихся некогда с неба камней — больше им неоткуда было взяться. Теленок ожесточенно трется, прежде чем стать изваянием — в мареве, в зное.

Птицы черный плотный комок в пространстве.

Может быть, подумал гость, он все же умрет не совсем скоро, может быть, он еще нужен творцу — в картине, славящей и благодарящей его.

Он застал траву в ту секунду, когда она соединилась с определением — море. Море травы. Травяное море.

— Житейский опыт? — воображение. Откуда он — опыт жизни? — ...ах, больше от воображения — скажем так.

Отростки — до-отроки — ореховых, в будущем, деревьев. Одуванчики рядом. И та трава, которую зна-

ют (употребляют) только греки — не древние — нынешние. Как она называется — не расслышать.

Хаос в составе гармонии — о траве вблизи.

— Да он не Йорик, как выяснилось, а Юрик. Гостю о дор. мастере.

Хозяева сада все нагибаются (Йорик-Юрик с кем-то), подбирают, отбрасывают в сторону что-то — глаза их видят совсем другой сад — он, кстати, ими насажден — двумя — вот этим рядом с Йориком, вместе с кем-то, кто умер.

Вдруг — ультрамарин — маленькая бабочка мелькнула над зеленой травой, как взгляд.

Он застал последний день цветенья. Отцвело. Отцвели. И все собрались лепестки внезапно. Поднялся вихрь и рой лепестков обрел очертанье. Неясно, что случилось. Оптический такой обман — реальность.

Пастель неба. Действительно — пастель — голубое за слоями облаков, к которым чуточку сейчас подбавили сажу.

...Каким детством! Каким кислым молоком пахло!

Утро отъезда. Прощальный взгляд за ограду. Телевизор — циркулем ножки. На ножках циркульных.

Попутная машина остановилась и увезла гостя.

...Вот человек, думал он, во всех своих ракурсах — анатом — патологоанатом — знаток анатомии бараньей — всего, что внутри барана, — а ведь за рулем! — освоил, значит, двигатель внутреннего сгорания. Хорошо, что в окне пронесется луг.

В

Вначале было слово — им все и закончится, — как выразить, что ничего, кроме слова, уже для тебя не осталось — ощущение такое в саду. В этом саду — этот сад — другой — не тот — тут другое — а что? У буфетчика в холодильнике — рыба — локо — безусый сом — побрызганный уксусом — дзмари — вот уже и сфера слова — волны, валы, волю. Синтаксис, где в конце строки — рыба — и проплывает, проплывает рыба — где? — в саду, саду и далее головокружительной следует быть синкопе — переносу — анжабеману: ибо. Кажется, споткнулся, а это плавный на самом деле переход.

Рыба и далее, далее — ибо — запланированное запинанье без запинки. В саду она плывет. Безразлично — съедена, не съедена, съедобна ли...

И этот сад и тот и это и то время и множество пространств и тишина.

Настал конец июня. Разве это не слово — настал конец июня? Целое предложение — слово. Слово — не слова, слова.

Все, что могло свалиться с дерева в сию пору — свалилось — разные летательные приспособления — однокрылые, двукрылые — все спешно желтеющее и заметаемое.

Вот сад, где — биржа, но не акции тут, а акации. Ребята старые сюда приходят и здесь пребывают. Ребя-

та — бичеби — пожилые, не бритые, в безразличной и внешнему виду обуви, околобуфетные, возлебуфетные, сидящие или стоящие, все с усталыми ногами. Но, если потребуется, если призовут — пожалуйста — на солнцепеке у буфета — качаясь — грациозно, неизъяснимо.

Кепки черные, черные кепки. Солнцепики. Кепки...— крèпки. Рифма. Крèпки усталые ноги. Крепкий. Приплывает по воздуху рыба... Плавники.

За листвою в глубине сада вдовы заведуют аттракционами: бочкой вращающейся, каруселью, уныло приседающими скрипучими лошадаками, гамаками, чертовым колесом. Матроны в траурном... Там во дворе у красильщика дел по горло. Стекает черная краска ручьем над чаном — самый ходовой цвет. Сколько же ее расходуется! Новое черное не покупают, перекрашивают старье.

Матроны... аттракционы. Ни о чем... ручьем. Приплывает по воздуху рыба... плавником.

Краска черная черна.
Вдовы, вдовы, летом— вдовы.
Не пошьют себе обновы
Из льняного полотна.

На тарелке — сом. Плывет несом, невесом... побрызган уксусом. Ударенье на у или на о? Уксусом.

Что без уксуса сом! Невозможен.

Плавником.

...В мире слова ярусны всегда яростны. Миролюбивые ярусны листвы. Что ж и сущие волнуют пустяки.

Плавники. Вот все, что осталось.

Отступая, отступаясь в слово.

Волны слова — слоновые — слово-волны.

В, в, в, в, в, в, в.

В.

МОМЕНТ

Ресторан, подвал, ступени в брезжущую светильниками тьму — каменный мешок во времени, нет, не во времени, вне времени.

Столики. Столики. Столы. Официанты. Официант. Вялость. Безжизненность. Сонная одурь. И все-таки: бум, бум, бум — бокалы принес, принял заказ, исчез и не через некоторое время, а в некоторый миг всплыл с подносом. Расставил все бесшумно. Откуда он появился, куда ушел?

Вино холодное, ледяное.

А на улице жара — жара метет. Старик в белом, который тут при туалете ее отгоняет: «Кш, кш», — заменяет установку кондиционирования.

— Как старые актеры и циркачи не могут без театра и цирка, так он не может без ресторана.

— Это очень верно и точно сказано — быть не может иначе, но на самом деле ни в коем случае это не бывшие официанты или тем паче директор ресторана, они всегда, с самого начала тут находились при гардеробе, при туалете. Вы моете руки, а он соблазнительно трещит разрываемым гигиеническим пакетиком с полотенцем. Или перекладывает, перекладывает в тумбочке горку салфеток. И самая грязная вещь на свете — мыльница — тут же.

— О чем же мы говорили?

— Все дорого, бесплатна бесконечность.

— Сборник Мандельштама, изданный в Грузии, я бы назвал: «Если спросишь Телиани...»

— Получите с нас, пожалуйста. Официант согласно кивает, но медлит и медлит стремглав. А ведь еще недавно сидел поблизости, словно дожидался, когда расплатимся и уйдем. Видимо, тогда был упущен момент и возможность расплатиться стала нереальной. Официант поглощен без остатка четырьмя личностями, вопреки вечности, спросившими, хочется назвать это, шимпанзское. Они спросили шампанское, и образовался момент. Момент — не единица времени — нет в нем ни секунд, ни минут.

Был ресторан пуст, а теперь заняты все столики и происходит выталкивание из него, как из жизни.

— Получите же наконец!

— ...не могу, ничего не нужно.

Вот так-то. Какой же может быть выход?

Ресторан — подвал — сад подземный — выходящий в сад — ресторан надземный.

ПРОПАДАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ

Пропадает стихотворение. Время поглощает его, пожирает. А там было хорошо: фонарь, уподобляясь деревьям, приобщаясь к осени, роняет абажур, колпак матовый. Не жгучее солнце. И часы-время, время-часы — время с колесиками и маятником, пружинное, заводное. И очень много людей. Пираты, пообтертые общением с детьми дошкольного возраста — в силу рода занятий — они заводуют всякими такими аттракционами. Рядом ларек пивной — бутылки пива прямо на земле — батареи, кегли... И между ними прогуливаются, стоя на месте. Очень хорошее такое стихотворение пропадает. И какое разнообразие одежд. Как сложен, как сложен человек. И рубашки на нем, сорочки, а всякие такие перевязки и пластыри, а сигареты, а платок под кепкой, а показывающие себя ручные часы! Отсюда и мысль о ручном, прирученном времени, отличном от башенного — тут среди скамеек — с рифмой копеек — 10 копеек — 5 минут — что хочешь: гамак, например. А комната смеха — неограниченно. Ты ему времени много, а оно съезживается.

Пропадает стихотворение, где молнией строка пересекает строки. И к «строки» рифма — сроки.

Единственная.

ПЛЫВЕТ, КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ!

Два мотылька: Ренэ и Теймураз.

Два мотылька и храм. Храм на Храме (на реке Храм) — зимою.

Слышу издали в сыром сумраке придела: — Я кладу ваш фотоаппарат на престол — тоненький (тоненький?) голосок (голосок?) — голос — голос Ренэ... или это мой голос? (И соответственно — ее «Любитель» или моя «Искра»).

Во всяком случае голос — свет, свет — голос, и пусть не сам свет — явственна в голосе световая природа (или это общая их волновая?) Световое давление голоса на тонкую, тончайшую пленку, на парус... Световое давление производит работу — начинает двигаться плот, ковчег, материк.

Но внутри этого движения, вернее относительно него — другое: в музее приподнимается плавно стеклянный колпак и экспонат — автобус Института Блаженных Блужданий (с отделом памятников старины) замедленно, как во сне, выкатывается на улицу. Не успеем оглянуться — и мы окажемся за городом:

Пловец автобус машет руками
Отодвигает те холмы...

Что за холмы? Те, что полны — чем? — конечно — холмами. Холмы, полные холмами.

Пловец автобус машет руками,
Отодвигает волны — холмы.
Холмы, наполненные холмами,
мы.

Кто мы? Ренэ, Теймураз и я. Между прочим, из нас троих — все трое живы. Тогда.

А может быть:

Холмы, наполненные холмами,
холмами наполненные холмы?

Нас трое. Я не упоминаю водителя — он будет в другой раз — в рассказе, который назовется — «Прощай Гергетская Самеба», или «В соседство бога скрыться мне» (из Пушкина), или как-нибудь иначе, где в связи с ним возникнет любопытный вопрос: каким образом глданский парень женится на казбегской девушке?

Автобус закачался наподобие катера, причаливая к совершенно незнакомому городу на окраине города. В окна виднелись строения, уходящие ввысь уступами, — под облака — величественная серая масса, кое-где позолоченная рассветом — нет, не рассветом — эта краска такая, плохого качества — и все это великолепие пересечено шлангом с наконечником сверкающим — верх технического изящества — описать его невозможно.

Пока автобус заправляется бензином — я выхожу на асфальтированную площадку с коричневыми по углам комками травы — подивиться красным колонкам у подножия нашего незнакомомого города и лицу озабоченному в туманном окошке конторки, в туманном окошке конторки бетонной...

Теймураз, оказывается, тоже чуть было не проспал (подумать только! Это надо знать Теймураза Васильевича!), встал в восемь часов — человек шестичасовой.

Но, возвращаясь вспять (к спать) — мы очень долго — минут пять — ждали Ренэ, что было тоже необычно. Ведь мы слетались к автобусу как можно рань-

ше — а тут словно сговорились и сошлись с опозданием — каждый по своей причине. А Ренэ, запыхавшись, пришла позже всех.

Я часто испытываю два ужаса: во сне обнаруживается, что на мне нет одежды, и приходится метаться по разным подъездам... И еще — уходит автобус Института Блаженных Блужданий — я опоздал, я бегу за ним, но поздно — о — неужели — не видит меня, бегущего, шофер в этом своем зеркале обратном? Я не знаю, было ли это на самом деле, а потом начало сниться, или не было никогда.

Мы все опоздали, но не опоздали в тот раз, а Ренэ вдобавок еще что-то забыла, и ее еле уговорили — воробья неумытого с желтым клювиком, почтенного доктора наук — не скакать за тем, что забыла дома, а подъехать на автобусе, находящемся в полном ее распоряжении и ведении. И мы поднялись к ней по подъему и принялись ждать — когда она выйдет, или вернее — стали пропускать несчастья — те несчастья, которые могли приключиться по дороге, если бы нам не пришлось задержаться.

На крутом повороте у села Асурети мы проехали мимо двух женщин, глядящих с обрыва на свиней — бессмысленно, словно в этом можно найти смысл. Но я что-то забыл очень важное и никак не могу вспомнить — что же делало это мелькнувшее значительным.

А помнишь —

как свиньи валялись в луже в тот день Летнего Блаженства животных, и пришли другие свиньи, покрупнее, и вытеснили тех, что поменьше, а потом ушли вместе — вытеснившие и вытесненные — и прилетели голубые бабочки — целая стайка, затрепетавшая над черной лужей?

Не хочу этого. Хочу тех, только тех свиней с двумя фигурами женщин из Асурети, ничего из других дней!

— Нет, — говорю я небритому старику, — ты не име-

ешь права сюда, сюда тебе нельзя, тебе тут нечего делать. Я ведь вспоминаю, хочу вспомнить только единственный день. Иди и кури в дворике своем.

Мы едем мимо виноградных полей — и в пасмурный день чудится радуга, а может быть, и не чудится — а все когда-либо чудившиеся составили в сумме одну не причудливую (десять миражей — одна реальность?). Дорога далеко внизу кажется игрушечной, но потом становится настоящей, и так без конца — смена настоящего и игрушечного вплоть до самого Храма. В голове все время вертится дурацкая строчка: Не может быть — храмули в Храме!

И проезжаем мимо дома, который не миновать — там внутренности двух радиоприемников на деревянном балконе и высокая антенна на крыше.

Почему прекращается световое давление — да и сам парус исчезает внезапно?..

Но вот я слышу голос, и корабль воздушный — да что корабль! — целый материк приходит в движение.

Р е н з:

— Забудьте название Цалка! Это — Бармаксиз. (А древнее — Эдзани или Эзани).

Так вот оно что! И я припоминаю Цалку со смутно чувствуемым Бармаксизом...

Всегда кто-то, как в листьях шуршащих, всегда за спиной — далеко близко.

Этот парк во Дворце пионеров, что с ним произошло? Я не был тут столько лет! Он поредел, в нем уже нельзя затеряться, он просматривается насквозь с любой точки. Я понимаю — я несправедлив — сейчас зима, а я его помню летним, но все равно.

В него впустили с одной стороны шум транспорта, а с другой государственное молчание зданий.

В нем стало больше пальм и меньше сосен.

Я хочу плыть в Бармаксиз под звездами

Непостижимо, но ведь ничего не меняется: — этот Дворец пионеров—он был всегда, он был Дворцом пионеров и тогда, когда был дворцом наместника Воронцова (тогда в нем больше хранили Дворец пионеров). Обратите внимание на окна, на эти пропорции — какие они уменьшенные — удобные для пионеров. Конечно, он был всегда, но всегда ему не быть. Можно видеть в Цалке — Бармаксиз и в Бармаксизе — Цалку — какой-нибудь такой же, как в Храме, дом радиолюбителя с внутренностями двух радиоприемников, выставленных на балконе, и мрачные корпуса приюта для умалишенных...

Тут на месте Дворца пионеров будет Храм Авто Запасных Частей и Покрышек.

— В этом наличнике, — говорит Ренэ, — неприятное, которое хочется приписать эпохе — одиннадцатому веку (какой-то его половине или четверти — у Ренэ и Теймураза столетия дифференцированы — например, существуют шестидесятые годы четырнадцатого века).

Я все кружусь и кружусь вокруг храма в Храме и даже подвернул ногу — но боли не ощущаю и поднимаю пористые циклопические плиты — лишившиеся веса — можно бы взять с собою на память. А кровельные, находящие друг на друга камни, венчающиеся коньковой аркой — напомнили мне космогонические плиты со звездами (о них подробно в «Забрезжит каменным лучом»).

Нужны голоса (голоса со световым давлением), я молю о них, они звучат, и опять происходит движение под парусом. Куда?.. В Бармаксиз.

Один из голосов принадлежит мне, другой Теймуразу, разглядывающему голую кладку.

Я: Нет тебе космогонии... ни звездочки.

Теймураз: Ишь, чего захотел. Я бы тут душу отдал за космогонию!

Лева, невезучий Лева! У него была возможность уехать с Гией — в Батуми — Гия ему предлагал — ведь Лева никогда не видел моря. И Лева вначале загорелся, но потом окончательно передумал (я на его месте — не сумел бы — не удержался от соблазна), и мы решительно зашагали в сторону Майдана. И в той особой столовой — всегда полной народу, которая не бывает закрыта — с 7 часов утра, когда хаши, и после, когда — пити — и т. д. — по часам вплоть до 8 или 10, или 11 и даже, если нужно, до 12 часов ночи — в этой столовой, когда мы пришли туда с Левой, в самый разгар — примерно в час дня — было пусто — перевероченные стулья лежали на столах, и на вопрос — тут что закрыто или нет? — знаменитый шевелящимися ушами официант ответил, что открыто, и, заговорщицки подмигнув, сказал: есть только чанахи — позавчерашнее.

И мы отправились с Левой по улочке, где старый деревянный фонарный столб, обремененный проводами, идущими к непостижимым гибридам из жилых помещений, красилен, мастерских жестянщиков, цехов трепки ваты и прочески шерсти, ящиков с керосинками, аптекарским ларьком и т. д. — и все пахло свежеструганными досками ремонта. Это остров — там машины тычутся, словно слепые, под знаком, запрещающим въезд — и поворачивают, недовольно урча. Потерпите, потерпите, братцы, — скоро, скоро — лавиной — вы прошуршите по этим местам. Я показал Лева на провода, и он сказал, что его часто преследует сон — он летит — уже научился лететь — и застревает в проводах — и потому он страшно боялся, когда училась летать Маргарита из романа Булгакова.

И мы зашли в злачное место — где бывают зимой помидоры и огурцы — причем, если вы их не заказываете — все равно вам их считают — будто вы их ели, и бывает рыба цоцхали (храмули) — и кутящие рыбаки с нею — изломанными линиями, как на картине Лудо

Гудиашвили, но в форме офицеров милиции. Но в этот раз, раз мы уже пришли севой, — не было ничего — только заурядная солянка — мы взяли солянку и две бутылки вина. Но Лева не стал пить — наливал в свой стакан лимонад, и я догадался — ты не пьешь — ты не хочешь смешивать опьянение с тем другим? — он кивнул. А у типа, стоящего с метлой за окном, — росла и росла метла — прямо на глазах.

Вино мне пришлось пить одному, и мы молчали мрачно.

Скоро распустятся деревья — вот фраза, в которой уже заключены все грядущие несчастья.

Я знаю, что ждет Лева — чтобы я поскорее допил вино — а у меня опьянение выражается так — я перестаю торопиться. Наконец, последний раз взглянув на гигантскую метлу в руках маленького человечка за окном, — я встал, и мы вышли, и от стены отделился человек небритый — именно небритый — единственный по-настоящему небритый (находящийся на той грани, когда небритость вот-вот перейдет в бороду, но не переходит). Он единственный самый небритый — потому что у других это считалось бы бородою.

Лева тут же бросился чуть не в объятья к нему — человек был пьян — безумно пьян. И они неожиданно заговорили по-немецки. Schriftsteller сказал про меня Лева — Schriftsteller — подумать только, как это звучит — Schriftsteller — писатель — ужас какой!

Это друг моей матери — представил Лева небритого, и мы пошли к нему в дом. Лева шепнул мне, что тот сидел и только вышел — все из-за той же контрабанды.

Боже мой, как же мне описать этого небритого, раз я его уже впустил в тот бессмысленный для него день... Его руки — их цепкость — нервность и неожиданная сила...

И вот мы вошли к нему. Что же это было? — Вначале двор какой-то, а потом комната — самая узкая, са-

мая подвальная, самая нежилая. Смятая постель — нет вы не видели смятой постели — это была единственная по-настоящему смятая — единственная смятая — в сравнении с нею — остальные — застеленные. Комната подвальная — ого, где окошко! — и вверху в выси подоконника — швейная машина. И — луковица на подушке. Лук на подушке.

Он достал (господи, как описать его руки!) из стены, из самого приметного места — завороченные в газетные бумажки — наподобие трюфелей — эти, как их там...

И я, конечно, завел с ним разговор, о том, что я против этого курения — и он поддержал меня и сказал — что он тоже против, но, когда в комнате дочь и жена, он выбегает во двор покурить.

Но я против — я ведь как это — Schriftsteller.

И он выдал за 6 рублей 14 башей — баши — так они у них называются эти порции на одну закрутку.

И спросил, а может быть у Левы нет денег — тогда не надо сейчас платить. Он всегда так, сказал Лева, спросит, нужны ли мне деньги, я могу взять у него и без денег, ведь он знакомый моей матери.

Две ясные неясности

Когда воздушно к воздуху пришит,
И кажется, что образ настоящий —
Вдруг что-то за спиною зашуршит.
А что шуршит? Какой-то звук шуршащий.

Он поднимает пьяные глаза.
Как он небрит, растрепан и юродив!
Ах до чего он против, против, против.
Ах — против, против — до того, что за.

Господи, говорю я — как же так — это был такой заполненный день, такой ни в каком другом не нуждающийся, напротив — казалось, он оторвался от всех

других дней и живет припеваючи в своем сумраке, в своей пасмурности и радуге, так что же он распахнулся и впустил в себя дни другие — и — это уже невозможно остановить.

А по Храму шли и шли люди — все с топорами, все с топорами на плечах — что придавало устрашающий вид этим мирным гражданам, похожим на переселенцев из дальнего Бармаксиза. Они останавливались, встречаясь, и заводили неторопливую беседу, образуя перспективу, уходящую в бесконечность. Я лавировал между их топорами по волнообразной линии. График сердцебиения. Они не замечали меня.

Я возвращался к храму, где отдыхали после обмеров — кожаная спина тулупа Теймураза и сутулая — Ренэ — и снова плыл под парусом, подгоняемом голосом-светом.

Р е н э:

Я бы никогда не завела убивающую мышеловку. А знаете — куда я выпускала мышей? (Я: Знаю)... нет, нет, не к соседям, и шепотом: в хлебную лавку.

Я обхожу (все дороги его тут обходят) приют душевнобольных с черными провалами окон в решетках.

На дороге появляется белый халатик, приковывающий мой взгляд. Воздушное на каблуках виденье, виденье будущей цивилизации в средневековом Бармаксизе. Я иду за нею. Врач, думаю — местная интеллигенция служит в тех корпусах с выбитыми стеклами.

Может быть, именно тогда у меня возникло ощущение, что я живу здесь постоянно.

Да, я тут появился невзначай. Да, невзначай, но вот что страшно странно. Я ничему не говорю прощай — как будто тут живу я постоянно...

Конечно же, она вошла в тот дом, где на балконе внутренности двух радиоприемников — и — тотчас же оттуда — оглушительное — нечто — радио — заработа-

ло — и пошло — и пошло под соснами и в рыжих листьях по крутым тропкам.

И дровосеки, до того стоявшие неподвижно, разошлись, а я подошел к Теймуразу и к Ренэ и услышал совершенно непостижимую несуразность. Что-то сдувая и счищая с кладки, они говорили о том, что она свидетельствует о низменной душе.

Я стал присматриваться, но никак не получалась душа низменная — а когда стала получаться, я почувствовал, что в голове у меня помутилось, и я спросил: как же так?

— Да нет, — смеется Теймураз, — кладка говорит о возвышенной. — Это мы о дочери нашей знакомой...

Всегда кто-то за спиной как в листьях шуршащих далеко близко.

Другие дни обступают материк и смотрят, смотрят широко раскрытыми глазами, и все трудней и трудней ему плыть. Или перестали дуть гигантские щеки в парус, отдающий металлическим звоном?

И

последним усилием, в последний раз вызываю голос — и с удивлением слышу свой. Так это мой голос, это я говорю:

— Ренэ, я кладу ваш фотоаппарат на престол...

И материк плывет под звездами, и возвращается автобус Института Блаженных Блужданий. Внизу загораются вечерние огоньки сел. И с темнотою уменьшается земля. И Ренэ, кивнув в окно, произносит: — Шкурка земли.

А утром свет проникнет в узкую щель под дверью — точно просунут уголок письма — я достаю его и, не читая, знаю, о чем там.

Я выйду на улицу, где уже весна с алюминиевой расческой, и пройду мимо пивной с ранними завсегдаята-

ми и дальше, за угол, там продавец фиалок зевает широко — величиною в букет.

Почему весна с алюминиевой расческой — для другой у нее слишком густые волосы.

Скоро распустятся деревья — вот фраза, в которой уже заключены все грядущие несчастья.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Сквозь два заплаканных окна: за одним — я больной, за другим — шофер, облокотившийся на баранку, ждущий. Виден верх автобуса и, если подойти к окну, и колесо в потоке мутном. А наискосок через двор — Испания дождливая: дом двубалконный, двупалубный и стоит парень в куртке с меховым воротником, а в черном проеме кухни — две женщины молодые, очень молодые — в черном — они и создают Испанию — одна выглядывает из-за другой. Потом дверь закрывается — им зябко — парень остается один. Если это его ждет автобус, то сейчас кусочек автобусной крыши тронется и уйдет из моего поля зрения.

...Как случается, что останавливаются вдруг старинные часы и некому уже их чинить? А зачем их чинить? В них отчетливее рок...

Ночью среди тьмы кромешной во дворе напротив загорается огромная, ничем не защищенная электролампа — и я понимаю — это кто-то там умер... Много дней прошло с тех пор, как она загорелась — и только сегодня похороны — и лампа освещает кожаные спины и надзирательские шинели — а тамада — кто мог быть за таким гигантским столом председателем, тамадою? Мне кажется, стали воскресать поэты древности...

И воскрес Гомер. Потому что доносилось нечто —

чудился метр и лад — певучее, эпическое — подобное Илиаде или сама Илиада.

Стало непонятно со стороны — сидят за столом или стоят. Во всяком случае, заговорил Вергилий. И вот заговорил Вергилий.

И вдруг все кончилось — за окном — через улицу. И огромная лампа на ветру раскачивает пустой двор, пустой двор и длинные скамейки — такие берут напрокат — они уже свалены, сложены... Куда исчезли кожаные спины и надзирательские шинели, неснимаемые кепки и нечесанные шевелюры? Где Данте, где Вергилий, где Гомер? Все кончилось и пир-поминки это только мнилось, будет длиться вечно... И он уже призрачен, как и сама умершая — пожилая осетинка — говорят, она всегда стояла в воротах, выглядывая — не возвращаются ли ее взрослые дети.

И грузовик уехал с огромной бочкой, бочкой с вином — окрашивающим, красящим, с морозцем — поживающим. И этот человек, вышедший из нагретой кабины, равнодушно скользнувший взглядом по бочке и стоявший возле нее — тоже исчез.

Говорят, испанской поэзии свойственно ощущение смерти, смертности, тлена — не знаю — не чувствовал, несмотря на хорошие переводы; после безуспешных попыток только однажды немного ею проникся благодаря одному встретившемуся слову — фургон. Где я его видел? Где-то по Военно-Грузинской дороге — похожий на короткий туннель с голубым просветом и черным силуэтом возчика и овчаркой, еле поспевающей, униженной веревкой.

А теперь о моей встрече у лавки волшебной — где продаются старые медные вещи, с неким К. Однажды в горном селе он купил кольцо неснимаемое у старухи, которая ни за что не хотела его продавать — мне рассказывал очевидец — и вообще срослось с пальцем с незапамятных для старухи времен — как одела, так

уже не снимала — но он все же снял его — там полоса осталась — она не понимала, что происходит, — чувствовала только неловкость за него — снял и купил; ну купил и ладно — но за сколько! — дал три рубля!

Он выходил из лавки — как это он разнюхал, где она помещается? — и я прошел поспешно мимо, а потом, как по команде, мы оглянулись и смотрели друг на друга с ненавистью. У-у-у-у-у. Лавка — медная — мы волки — расходимся, расходимся. Над нами в небе пересечение троллейбусных линий.

Зашел в пивную и вдруг замечаю — там из-за пустых ящиков выглядывает кусок красного бархатного — юбка курдюнки. Легче стало дышать.

Девушки в автомобиле. И в осуществление каприза — 90 лошадиных сил. А впрочем, я не знаю, во имя какой другой цели могут быть запрещены моторы, приведены в движение трансмиссии, пожираться бензин.

Мое красномордое отражение в стекле.

Нужно, нужно — не найти общий язык, а как-то породниться даже с цивилизацией, со свитерами, с модерном, со всем этим стилем. Вон из медной лавки!

А я утверждаю — есть в армянской ругани уютность — уют домашний, — все в сборе за столом.

И я попал на Площадь Разлитого Вина. Я забыл, что так хорошо поздно. Я позабыл, что в поздний час творится, так хорошо железо серебрится. Ясней моя неявная вина — на Площади Разлитого Вина. Или Винного Запаха — кто-то вышиб из бочки втулку... там, за железнодорожным переездом, где спит сторож. Это безумие не имеет никакого отношения к пророчеству. Мое не пророческое безумие. В три часа ночи, в три часа утра. Окраина Край. Бескрайность. От слабо освещенного железнодорожного переезда уходят по обе стороны два рукава темноты. Что если так по пути в темноте прийти к вокзалу. И прийти в освещенный вокзал... Проводница, сонная, принимает уголь от шапки-ушан-

ки... Мое не пророческое безумие, не творческая тревога.

Что же это значит пророческое? По Блоку — чувствовать грозу и бурю, когда ее еще никто не ждет, чувствовать то, что не чувствуют. Подземный гул... Подземный гул в ресторане таком-то, освещенном мертвенными лампами дневного света и с этим типом на эстраде — поющим могильным памятником. И все входят и входят новые и новые посетители в неудобные ресторанные хоромы, но никто не замечает неуюта и не слышит гула...

Когда рушат дом, где раньше ютилась мастерская медника-лудильщика — остается надежда, что его перевели в другое место. Безнадежней, когда дом не разрушили, но на мастерской висит замок. Уже много дней висит. А его все нет и нет — этого лудильщика с впавшими черными щеками и неожиданно не мужественным голосом. Может быть, и его унес грипп?

А мне представился его аул...

Надоели чистильщики. Начинаются эти медленные, подходящие к сердцу прикосновения — закладывание шнура в ботинок негнушимся указательным пальцем...

Там за окном, где были Гомер и Вергилий — сегодня, видимо, сорок дней — и вот приезжие стоят мрачной цепочкой и передают через перила балкона первого этажа граненые стаканы, много граненых стаканов. Будут ли приглашены Гомер и Вергилий на этот раз?

В проеме распахнутом — опять Испания — балкон и девушки со старухой неизменной.

Какое-то животное, наверное, зарезали — глядит на что-то женщина застыло — в глубь двора, куда, мне не видно из-за каменной ограды.

Девушка спускается в платочке синем.

Вот стоит в сапогах, в выгоревшей кепке — в сером пиджаке не по росту — с лицом тупым.

Все идут в дворовую уборную по очереди шагами бегемотоподобными.

Медленно, неторопливо, с ленцой — волоча ногу, входят в ворота. Ворота распахнули настежь, потом полузакрыли — и тотчас на открытой половине стали кататься дети с опасностью прищемить руку. Потом, когда настанет пир, ворота закроют. Функции горя в избразительном плане несут женщины в черном, с седыми прядями — две-три из них — остальные заняты хлопотами — накрывают на стол.

Но прежде уедут на кладбище. Одна женщина будет стоять с портретом покойной, завернутым в газету, другая с кувшином вина, третья еще с чем-то и все с бессмысленными лицами, усугубленными ожидающим такси.

Безумие священно — с помощью его пророчествуют.

Ого... уже и в папах и в кожаных пальто явились — и как их много! Столпились —жимают руки подходящим, и младенец с повадками взрослого тоже. Вот тут и создается атмосфера — микроклимат особый, при котором чувствуется необходимость появления человека определенного качества — певца — Гомера, Гесиода может быть. Но для этого еще и еще должен дымиться огонь, валить пар от котла и хлопотать женщины — три в черном и семеро в цветном... и соседка глядеть с верхнего балкона. Смотреть по-особому, как участница посторонняя — будто для нее специально развертывается это зрелище, к которому она непричастна. В лице ее заинтересованность и отрешенность одновременно, причем происходящее не протекает как нечто непостижимое — напротив, нет в нем тайны, и оно может быть пересказано — оно в русле речи — глаза видят только то, о чем может поведать язык.

И вдруг:

звук воды по водосточным трубам. Пошел дождь прямо на пир. Все быстро намокло и растаяло под дождем.

Но перед тем как исчезнуть, женщины превратились в мужчин — эти грубые твердо стоящие на ногах скотницы — а мужчины в женщин — подвыпившие, они стояли, томно покачиваясь в такт чему-то, лица их выражали нежность и снисходительность, тогда как женские — грубость и непримиримость.

Перед тем как исчезнуть.

Гомера не позвали на 40 дней, и он спустился шумом дождя по водосточным трубам.

ПРОГУЛКА

Почему он не подождал трамвая, а пошел по мосту в такой дождь? Хотел увидеть, как вода падает в воду — дождь в Куру? По мосту прошли разносчик керосина (откуда — куда!) — привидение — с двумя бидонами — профессиональными, настоящими — с неразборчиво выведенной ценой, за ним старуха с рвущимися из рук зонтиком и злобной гримасой самурая. А за мостом — в пустом саду — девушка-подросток в голубом и белом, пробежала по намокшему кирпичному песку, отражающему светлое, недождливое в дождь небо. И, наконец, одинокий под репродуктором квартирный маклер — с гвоздикой, которую он время от времени подносит к распухшему носу.

...Эти прогулки обманчиво тихие на самом деле сравнимы с гигантскою аэродинамической трубой, с таким ревом сыпались по ним поколения друг за другом. И очутился на улице, бывшей Кувшинной или Гончарной. С бьющимся сердцем стоял, смотрел, не отрываясь, на комнату над лавкой керосинной. Он на нее, она на него — подслеповатым оком. Ступеньки вниз. Серьезные основания игры слов. Вход — зевок — зев — Зевс. Бездна. Электрическая лампа в глубине мерцает, как звезда. Как странны эти новые бидоны.

Мы говорим — эпос, проза — так обратимся к ру-

нам, к ведам, к сагам, к Эдде — и окажемся в самом пекле — ни одной фразы без движения.

...Современные приемы писателей это ведь тоже возвращение к истокам — с чудесами преображения, воскресения и вознесения.

Ни одного предложения без действия, без глагола — недаром «глаголом жечь», а не именем существительным.

Опрометчиво, по вздорной привычке читать вразброд, превратился, не разобравшись, в бога огня Локи — заскучившего, не знающего, какую еще придумать проказу... замечаете, как все тут действительно течет, переливается, пере — пере — пока не становится перьями соколиными, соколиным опереньем, одолженным у доброй богини Фрейи... и он полетел к врагам, к самому Гейроду; засунул голову в печную трубу и лаял, дразня великанов. Один из них приставил лестницу и полез на крышу за ним, похожий на пожарного. Убегая, он зацепился за черепицу и был схвачен. Гейрод поглядел в его умные и хитрые глаза и понял — тут что-то не то, и посадил его в железную клетку, поклявшись держать в ней долго, до тех пор, пока не обещает предать бога Тора... На четвертый месяц он обещал и его выпустили.

На той же улице, возле керосиновой лавки. Подымаетесь по крутой — веером — деревянной лестнице и — по открытому потом балкону — где окна нараспашку — смотрите — какой хрусталь — какая скатерть — как сервирован стол — какие женщины — как гость морщится, опрокидывая длинный, камертоном гудящий бокал. И арбуз на ярко-темном полу — в углу. А дальше по балкону — вверх на лестнице — ух, ты! — в юбке-колоколом — стоит подбоченясь и кому-то еще выше над нею, если перевести слово в слово:

— А ты зна-и-ишь, арбузного варенья делание?

Не Лубянский, а Чалаубанский и не тупик, а переулок.

У подъезда девушка в открытых туфлях с мерцающими ноготками разговаривает с кем-то, обняв подружку и пятясь постепенно в темноту.

Упал и не мог подняться, очевидно, споткнулся о какой-нибудь камень преткновения краеугольный — ничего особенного — просто из неотосланного письма Горького — Анастасии Цветаевой (сестре Марины).

— ...У сестры Вашей не понимаю опьянения словами, как ни в ком его не понимаю...

Ух... — даже как-то не вглубь, авширь — всю ширь захватило!

Лежал и не мог подняться, но потом раздался голос: — Глупый, письмо-то ведь неотосланное — вставай!

Он поднялся — перед ним стояла компания из скандинавских сказаний и Тор тут, и Грунгнир, и Тиальфи.

И они пошли по улице Руставели знаменитой, и деревья шумели над головой, точно их еще не спилили, или не спилят, или они не имеют быть спиленными.

— Но кому это нужно? — удивился Тор. А другой... погодите, он ведь странно похож на Леву, а раз так, то сказанное им выдает его постоянную прописку в провинции:

— Видимо, у кого-то не было на зиму дров, но было право лечить деревья методом рубки. Скрещение этих величин...

— Но, — перебил его Тор, остановился посреди улицы, воздел руки... совсем как Гиа.

Все было хорошо, не было «поруганья счастья», «попиранья заветных святынь», пророчества Вальи: «мир разлетится на куски, а волки Скель и Гети сожрут луну

и солнце». Никому, никогда, никого уже не нужно предавать.

На углу он попрощался с богами и встретил женщину — с тех пор как видел ее в последний раз прошло лет неисчислимо, а она осталась по-прежнему прекрасной. Они не были знакомы, но она сейчас смотрела на него не отрываясь, он догадался — читает на его лице следы, оставленные быстротекучим временем. Когда-то, когда она была ученицей, старшеклассницей — он глядел на нее во все глаза... улица возле школы, продавцы семечек, баты-буты на бутылки, панты... Она всегда проходила гордо, ни разу не удостоила взглядом — но — значит, она все-таки его замечала!

БАРАШЕК СВЕТОРУННЫЙ

— Я бы их на пушечный выстрел не подпускал! — болтает князь, последний из рода. Мы едем в что-то вроде бывшего его имения. После электрички, как пересели в автобусик и пошли подпрыгивать и подскакивать, — на ум пришли перекладные. И тип там ехал — потешный — в толпе все кто-нибудь поет — пел и был в песне мальчиком-бичи, приглашавшим на свои похороны — веселая такая песня — любовная. И мелькали, мелькали по дороге парикмахерские. И стоял джж предвкушаемой доброкачественной пищи. В основании же духа — хлебный, как-то и почему-то связанный и с цветом серым заборов.

Мы сошли в открытом поле. Остриженные барашки промчались со скоростью гончих псов. На гончих псов похожие бараны. А потом появились бараны рогатые. И дерево высокоствольное — перышком пишет на закате.

Вошли в дом и после неких церемоний там зажгли свет в подвале-столовой-кухне, и появились разные волшебные предметы обыденного назначения. А в корзинах у стены наседки-индюшки высидивают индюшат на продажу к Новому году. Но все это уже невозстановимо.

Помню упругость живую доски, перекинутой к роднику, и цвет колючек фиолетовый. Фиолетов — по-

этов — рифма. И сумерки стали существом — сумерком. А дерево, писавшее по закату, уперлось теперь в звезду.

Вино. Еда. Еда. Вино. И водка.

Спали при открытых окнах, как в поле.

Вся еда с утра проснулась — заблелая, закудаhtала, загомонила.

Стригли баранчика, он сбрасывал пену, становился морским, как морской конек. Конек — коньяк. Имя ему Пена и Раковина.

Низкое утреннее солнце. Где ты теперь, сумерек, в какой голубизне, почему-то хочется сказать священнолатной. Ризы ему теперь подходят. Кому служит сумерек? Корень — мерк — некое государство целое — и как меркнет—у-у, как там все начинается, вскипает, и просыпаются в чердаках совы. А вот сейчас к полдню сумерек прячется в ходящих бугром лопатках буйволов. Их поюняет женщина в косынке — блеклая, во всем выцветшем. Необозримо вокруг письменный стол мой. А скрытая прохлада в жаре — факт. Умей пить эту скрытую прохладу. И птички многоцветные выпархивают из-под самого носу. И кажется, навеки запечатлелось: в потоках света барашки, огибающие гору. Низкие ограды, следы копыт... Потом все пространство и все дороги уперлись в крыши, а за ними обрыв. У обрыва храм прекрасный и дом с балконом в даль и в дали называемое: хребет. Ты скажешь — близь — нет, это очень не близко и с никогда не тающим снегом. Рядом масса княжеских могил. Живой князь — последний — все входит и выходит из склепов фамильных — мнится в белом одеянии с вышитым гербом. Перепачкался жутко. Как же он потерял имение — хвалился никого не подпускать на пушечный выстрел. И не подпускал. А потом вот получилось так: оставил пушку, пригласил прекрас-

ную Лялю и укатил на бричке в Белый духан к Андронику...

Желтые цветики. Зной гудит на крыльях стрекозиных. И вышла из дому старуха, из-под ладони вглядывалась в пустоту, в даль над обрывом — чего это? — не плывет ли к ней по воздуху оттуда барашек светорунный.

Прошли буйволы, но сумерка уже не было в лопатках, ушел он. Низкое, низкое солнце, уже не утреннее, а вечернее.

.....
На путях стоял паровозик и фыркал водой из гофрированной трубки, похожей на противогазную. Прощай, барашек светорунный, и тот, которого очень ловко при мне постригли и пена-шерсть, отдельная от него, лежала на земле, сохраняя форму барашка. И все бараны тут превращались в гончих псов. А князь и пушку оставил и меня, опять укатил в Белый духан к Андронику с прекрасной Лялей. Андронику или к Аветику?

ЧЕРТОВО КОЛЕСО

Сад детства, юности и конца дней, который во веки веков, как бы ни именовался сию минуту — Муштайд.

Чертovo колесо или круг обозрения. И то и другое название не точно. Для чертова колеса недостаточно быстро, да и детское оно — сюда взрослые только с детьми. И не обозрения — потому что обозревать нечего: колесо ниже всего, а все тут — деревья. И все-таки и чертова и обозрения, ведь легкость, с какой совершается этот медленный подъем, полуострота ощущения туманного происхождения — черт его знает откуда — так что так или иначе — чертова. И обозрения: впереди дерево деревьев — тополь, и подъем происходит без усилий, как бы вне кабины, а именно по дереву — по целой стране обозримо необозримой.

И там же, если обернуться — другое дерево, противоположное тополю — раскидистое, и летишь сверху вниз от ветки к ветке — без крыльев, с обезьяньей ловкостью, как в виденном некогда фильме — Тарзан.

А еще между тем и другим деревом — небо — с эпитетом высокое. Но оно не сразу, прежде всего увязает в тополе. А до тополя, до всего — постамент-помост, на котором колесо и — некий золотой век механики — там тип, заведующий колесом, расторопный, флегматичный следит за равновесием, равнодействием — он мысленно взвешивает вновь подходящих и дол-

го кажется бесцельно и бесплатно кружит по воздуху люльки, отыскивая, кем кого уравновесить.

...Но к тополю, который по существу ведь — сразу все тополя. А раз так, то прежде всего аллея тополей по дороге в Рачу... значит, в самом же начале Тополя идет автобус Института Блаженных Блужданий — там и сутулая спина Верховной Водительницы — Воительницы — Ренэ... Только линия спины — если взглядеться. Картины минувшего сплошь недорисованы: там дома без крыш, дыхание без вдоха. Дома без крыш, дыхание без вдоха. Едет автобус по дивной Раче, и звенит река Сакаура, но если точно, то там текут сразу две Сакауры бок о бок — одна в солнечный день — голубая и другая, увиденная в ненастный день через год. Поток несетя темно-бурый, а был когда-то голубой. О голубая Сакаура, что ты наделала с собой! И не только две Сакауры, но и два автобуса — по крайней мере два одного и того же, который ныне — после Ренэ — никуда не едет, пребывает под стеклянным колпаком.

Медленный подъем — сплошное тополиное пространство, но в тополе и антитополь — совместилище анти-тополовое: степь голая, выжженная, ни деревца. Колючки. Одни мужчины. По воскресеньям кино. Картины привозит солдатик.

— Почему такие паршивые? — Да, говорит, такие ему выдают. — А нельзя ли получше? — Можно, оказывается, какие хочешь, надо только заплатить кому следует.

— Так я тут организую сбор денег!

И пошли уполномоченные по сбору и все шло гладко, пока не наткнулись на ноги, опущенные с верхней кровати: нет, им кино ни к чему. Откуда ни возьмись начальник: — Что за шум! Ноги: — Да вот деньги какие-то собирают для Цыбулевского...

Автобус урчит, тополя несутся в небе. Верхняя Рача. Возле каждого дома — собственная крохотная водяная деревянная мельница — и запах, если просунуть нос в

щель — ах, какой головокружительный — муки. Так сухо меж брызг водяных.

А начальнику было сказано: — Вы-то сами выносите свои табуретки смотреть кино, значит, тоже заинтересованы.

У начальника хватило юмора:—А с меня деньги возьмешь? — и полез в карман. Так что обошлось, но с картинками, кроме упомянутого Тарзана, получалось неважно: — Ну, подумалось, — одни тут мужчины — так закажу фильм-балет. Но — загадка неразрешимая — никто не досидел до конца — уходили зевая. А потом приключился и вовсе кошмар: Кошмар — Клошмерль — «Скандал в Клошмерле» — так назывался заказанный фильм. Там открытие общественной уборной—торжественное — с перерезанием ленточки — совпало с завершением строительства Новой уборной — тут в Гладком Поле. Публика, разобравшись, возмутилась: мало здесь, так еще и там! Разошлись постепенно все и начальство с табуретками. Летний вечер, стрекотанье кинопроектора, установленного на грузовике, легкомысленная комедия, пронзительный ужас в ребрах.

Идет автобус в шумящей тополиной листве — день ли, ночь ли — подъем или спуск — все спуталось — вся география — и где Ингури, где Кура, где Риони, где Сакаура — неизвестно — они словно корабли тех же названий — постоят на приколе и отчаливают — куда уже им угодно.

...А в длинном шлакоблочном строении Новой уборной — по утрам — грандиозная экспозиция трагических гримас. Как по музею. Маски. Маски. Владельцы масок. И лицо. Валентин. Валентин Семенович.

— Валентин Семенович, как вы научились делать скрипки? — Не успевает ответить, промелькнул на мгновение дом его и сад и мастерская. Мастерская с взрывающимися время от времени банками пороха — и вдребезги галерея.

Кончается тополь, начинается небо, которое в общем, на этот раз — перевернутое море. Давнее, давнее лето — все впереди.

— Неужели тебе 18 лет, только 18?! — спрашивает она.

— Да, 18. А что?

— Ну скажи, что тебе хотя бы 20.

А ей — 24. Для него тогдашнего — эта Прекрасная дама — вне возраста. Он понимал: чтобы завоевать ее благосклонность — нужно что-то предпринять, но что! И дьявольская интуиция осенила его. Он составил и выложил ей свой гороскоп — зверь мой — волк, растение — можжевельник, день — среда, созвездье — скорпиона и близкая беда — ни одного тополя на ближайšie годы. Она стала очень серьезна... И была ночь, купанье при луне, она, не скрываясь, вышла из моря и шла грозно к полотенцу. Он спросил ее: — Когда я тебе понравился? Она ответила: — Возле киоска вод, ты как-то хорошо улыбался, протягивая стакан с водою, — вот тогда.

А он-то думал...

Небо — перевернутое море. Полуокружность прибрежья — улыбки — на одном ее конце — Валентин, на другом Ренэ... Маленькая старушка — за ее сутулой спиной он все карабкался вверх к очередному храму восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого века. Века эти для нее дифференцированы — например, существуют какие-то сороковые годы девятого. Почему она благоволила к нему — неизвестно. За что подарила глиняную окаменевшую чашу не нашей эры, найденную в могильнике!

А в небе уже другое море. Облака — чертоги. Кораблик качается. И в кафе — серьга. Поскрипывает причал. Рыбешка бьется в полиэтиленовом кулке — ловится, как ни странно. Совсем другое море того же Черного моря. Прельстительный муравейник зимою.

Сколько лет прошло! Всякие беды пронесли над головою, как бы не касаясь его. Ни одна не миновала... И можно начинать с нуля. С нуля нравственности и морали в том числе! Никакой истории души — она запродана. Есть такой соблазн — персонифицировать черта. И вот — официант в стильном баре, поблескивающий металлическими зубами, попыхивающий папиросой, со знаком краба на отвороте. В момент вытаскивает воблу из заднего кармана: — Прошу-с подойдет-с?

А потом — глядь — где же он? — от него только плавающий дымок в пепельнице.

Эх, продал душу за воблу!

Другое дерево по другую сторону колеса — Тарзан летает. Стрекочет кинопроектор, стрекочет — звук джунглей. Спуск, как и всякий спуск, — быстрее чем подъем, даже при условии строго равномерного без ускорения вращения, или как там в физике.

Когда они встретились через много лет — она уже не спрашивала, сколько ему лет. И были какие-то стога под Москвою, сидение на лавочках — провинциальные вечера, медовые голоса совсем девчонок в темноте. Все ушло, как внезапно уходит запах сена. Одну минуту пахнет стог.

Мальчик прижался к отцу — он все спрашивал на улице: — Мы гуляем, мы гуляем? Может быть, он уже ощущает разницу в свои два года между происходящим и его идеальным представлением, содержащимся в слове. Гуляем — гуляем.

Для мальчика Муштайд будет всегда перерезан проезжей набережной с потоком нескончаемым автомашин, откуда ему знать, что отнято лучшее у этого сада — спуск к реке. Некогда тут слышался шум реки — это в городе-то! Могучий шум Куры. Впрочем, тогда все реки были Курюю. И сад не стягивала петля асфальта.

Что бы еще о черте? Ну, скажем, у него зажигалка — вечная.

У самых нижних ветвей. Уходя из Гладкого Поля, уходя навсегда, передав полномочия по сбору денег на хорошие кинокартины — прощальным оборотом, краем глаза, уголком зрения: несколько детей внушают щуплому киномеханику:

— Ты наших ребят знаешь. Привози про войну или про «убийцтво» со следователями. Про любовь не нужно. А привезешь балет — голову оторвем.

...Чертово колесо. Круг обозрения. Один оборот.

КАЗБЕК

Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно владело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую гряду, по выражению поэта, подпирающую небосклон.

А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум».

Однажды, стоящее многих раз, ибо оно образовало картину, два живых человека, наших современника, в погожий тбилисский денек, за столиком, под высоким потолком ресторана «Сакартвело» — сидели, простите, возлежали в удобных и прохладных тогах. Иосиф Прекрасный угощал их, и стол был тесно заставлен яствами. То были гости, приезжие — литераторы — два настоящих литератора — поэта. Я слушал и внимал им жадно. Их речь и жесты воспринимались мною как некое священнодействие. Я благоговел перед ними, особенно перед одним из них. Он, как и обычно, почти не притрагивался к пище, — духовная пища — но не пресная, а остроты необыкновенной — блюдо, не идущее в сравнение даже с кавказскими — вот что всегда курилось пе-

ред взглядом этого в некотором роде божка. Второй налегал на еду, с ним я был знаком мало. Мне понравилось, как он ел — этакое обжорство без гурманства — поедал с аппетитом котлеты какие-то, не зарясь на осетрину. Ну и все такое — короче, тоже трудно было отвести глаза. Магия. Профессионализм. Ничего не скажешь. Между тем речь шла ни о чем особенном — обсуждался их отъезд на Воды по Военно-Грузинской дороге. Иосиф Прекрасный предложил им свою машину до Казбеги — он уезжал туда — там должна была состояться его декламация — при стечении народа, по какому уже не помню поводу. При упоминании горы Казбек — обсуждение этого предложения тотчас приняло для меня глубоко личную подоснову. В обыденную речь я внес иной накал и значенье. Я был убежден, что именно там по пути к Казбеку и у Казбека — рядом с ними — я сумел бы наконец не отвлеченно, а конкретно раз и навсегда решить мучившую меня дилемму: что же важно для литератора, следует ли писать под диктовку того, что перед глазами, гнаться, как я гонюсь, за подлинностью, точнее даже доподлинностью, то есть чем-то таким, что придумать нельзя, или же ничего не нужно, ничего — кроме четырех стен и чистого листа бумаги. Пример доподлинности, которую чу: как-то в Средней Азии в автобусе, коса узбечки, сидевшей впереди меня, гляжу — лежит на моих запыленных туфлях — придумать такое невозможно.

Они говорили о Казбеги как о пункте, где им нужно будет добывать машину для дальнейшего следования — я же терзался: будет ли виден в то время Казбек. Я затеял своего рода гаданье — какая выпадет карта? Если им не нужен Казбек — то литератору ничего не нужно, значит, я не существую как литератор. А если им нужен Казбек, то я — рабский переписчик, эксплуатирующий собственную впечатлительность, все же чего-то стою и мой метод тоже неплох и хорош, хотя литература, ко-

нечно, не протокол, составленный на месте происшествия.

Ехать вместе в тот день я не мог, но через пару дней мне представилась возможность попасть в Казбеги в автобусе Института Блаженных Блужданий, и я поспешил как бы за ними по их следам.

Спешил ужасно, а ведь не к спеху — никуда он не уйдет, Казбек, — а в то же время до сердцебиенья: скорее, скорее! — точно его может не оказаться на месте... Ехали без задержек. Остановки были скорее музыкального свойства: паузы, заполненные неторопливым течением бараньих стад — то по одну, то по другую сторону автобуса.

И какое-то четверостишье, никак не получающееся, не желающее встать на четыре лапы: там пастух стоит картинно, палка у плеча, собаки рыча... и все по воле карантина.

У подъема Млети — яблоки — задачи с яблоками — все разные — все как из сказки — румяны — и сложены в одинаковые горки.

Перевал — провал — зеленое, зеленое. И на короткой остановке пахнет баранами, турами — тут они вот только что были и снялись — куда? Что за зеленый цвет! При ближайшем рассмотрении он серый.

Гора вдруг вытянула из себя облако, как клочок ваты.

Процарапанные горы... Что процарапанные? — возмутится читатель. Не сердись — это из другой поездки к Казбеку — эта ведь только исследовательская по следу двух проехавших поэтов — а до нее было три Казбека. Не три Казбека, а три встречи. «Одну из них сам бог благословил». Ехала со мной тогда молодая девушка — красивая, с красивыми руками, с красивыми ухоженными длинными коготками — и я шутил: процарапанные горы — процарапаны ею, другою, не этой Маленькой, а Большой. Давно это было.

Процарапанные горы.

И я увидел, как розовые лучи огибали гору.

Вот он, Казбек, — вид на Казбек со станции Казбеги, приговоренный к съемке круглый год с одной и той же точки.

По дороге в гостиницу нас провожал тур — ручной — не домашний, с глазами чуть навывкате — он горный. Почему-то нужно было его не забыть, а он не удержался ни в памяти, ни в слове, так только: цокот и круто откинутые рога.

Мгла розовая, чуть брезжущая, в горах после заката. И тлеющий, разлагающийся светильник дневного света у гостиницы и транзисторная вакханалия.

Потом ночь съела горы. Ни зги. Естественно — если они приехали так поздно — нажали на стартер — уехали, укатили, не останавливаясь. Оставили красный после себя зигзаг — раскаленный уголек — рубин задних подфарников. Два больших, настоящих литератора. Поэта. И тут один из них процитировал себя же другому: — Все равно, еще ни у кого не получались путевые картины.

Предвкушаю: завтра — Гергетская Самеба — храм на горе в виду Казбека. Можно ли ему говорить: Здравствуй — или только — Прощай — как тогда, однажды заговорились: Прощай, Гергетская Самеба, в последний раз передо мной ты заслоняешь четверть неба и... тоже не стало четверостишьем.

В горах есть подлинные и мнимые высоты. Но солнце — уровень — выводит притворщиков на чистую воду. Я как-то видел Казбек, прячущийся за малым пригорком. Солнце начинает с самого высокого, независимо от того, насколько это высокое близко или далеко расположено от вас. Утро. Все в темноте. А Казбек уже освещен, с него сползает солнце, как одеяло.

Пыль и бараны. Бараны живут в более беспокойных временах, чем коровы, — мимо все пробегают овчарки,

тяжело дыша, а одна с волочащейся по земле веревкой — как сорвалась с привязи когда-то, так и осталась с нею. Ухватись за веревку, попробуй оторвать собаку от теченья стада, от этих пяти, семи лошадей с поклажей и возком — куда там оторвешь! Овчарки дымные.

— А тур?

— Это не тот, — сказала женщина, — тот пропал.

Тут бы рассуждение о женщинах, как о вине, которое хорошо к месту и к климату, как и чай зеленый. В горах в ходу — жипитаури — послабее водки, но пьют его стаканами чайными, как вино...

Явление женщины-жипитаури в блеске горных вод, в осенней разрухе, в золоте листья, шмыгающих свиней и хлебом пахнущего дыма...

Все тот же запах дыма и хлеба.

Казбек сияет.

Рыжие склоны.

Облачко, которое ночевало, решило на этот раз не в путь умчаться рано, а остаться.

А мы приглашены сегодня в один из этих домов Гергетских к вечеру на обратном пути... — Интересно, каким образом наш шофер — Глданский человек (то есть из Глдани), — сказал Т. В., — женится на гергетской девушке? Да, это было бы не менее захватывающим исследованием.

Жить бы у изгиба реки.

Царственное опахало на дороге — сломанная веточка осины с золотыми умолкшими листьями. Я цвет этот подношу к глазам.

Ох, и высоко же тут кладбище, ну и труд — тащить покойников по такому подъему!

Вечный спор с небом у скал кинжальных.

Я в роще, оказавшейся вблизи еще богаче, чем само богатство. Деревца-подростки (по Диме Эристави). Одни подростки. Подростковость в золоте. Деревце трясет листьями как монисто. Спадает лишь по одному зо-

лотому листку. Я подходил, и по лицу задевали летящие листья, и от листьев шарахались кузнечики (вот она — доподлинность!) Закружит им голову ветер, этим высокогорным березкам — растраницуют, промотают все до последнего листика.

Обрывки бреда: — Если в башне стоят две иконы, он берет и зачисляет ее в молельню... Это уже по части Института Блаженных Блужданий. Голос Ренэ.

Ворон черный скомканной бумагой парит над Казбеком. А лучше наоборот: вороном — скомканная бумага...

Никаким магнитом потом не вытянуть этот день. И я иду, может быть, лучшим в мире коридором-тропой.

Казбек закрылся — лишь чуть самая макушка — белая сванская шапочка над облаками. Может быть, тогда он был закрыт полностью и они уехали без всякого сожаления. Вернусь — спрошу Иосифа Прекрасного. И в любом случае — это ничего не докажет. Хотя если они остались, то...

По лучшему в мире коридору прошел юноша со связанными ветками хвороста — получился этакий гигантский веник — и он как бы подмел этот коридор.

Но и самое лучшее кончается.

А Казбек опять только макушкой сванской шапки. Он расположен неуютно, Казбек. Чуть ветер. Чуть туча. Посиневшие жители. Они живут, где зарождается погода — страшная все-таки близость.

Погасший тон лугов, а подумав — замшевый. Это то зеленое, которое перестало быть цветом. Отними у зеленого цвет. Его словно переварили. И замшевый навоз — та же трава — те же травинки — отчетливо, словно не побывали в желудке коровы.

Призрак канатной дороги над лучшим в мире коридором.

Как-то надо сказать об этом кусте, не упоминая о нем. Птица пела или щебетала...

Тени облаков несутся, задевая меня.

Гергетская Самеба. Я прислонился спиной к колокольне, и давний, давний мир нахлынул на меня: солнце, барак — сторона его безветренная — затишек.

Солнце то тут, то там. Мы имеем только косвенные доказательства больших размеров солнца — оно ведь занимает по существу все небо.

Там солнечно — тут тень. Теперь тут солнечно — там тень. Пятна облаков, а не солнечные пятна и, наоборот: солнечные пятна, а не пятна облаков. Спятил. Ощущение, что облака повисли, хотя они лежат.

Скучно на Казбеке без Казбека.

Я завершаю исследование: они, конечно, проскочили Казбек, даже если он был виден. Ведь есть особая литературная жизнь, как есть особая своя театральная театралов; цирковая, балетная... свои привычки и словечки — и ни на что не променяем — ни на... они остались наедине друг с другом, с особым климатом своим, свободные в отличие от меня, от этой жалкой зависимости от горы. Ключ к Казбеку? Пожалуйста: — «Все равно не видать в тумане». Классика. Единственность сказанного. И нет в этом нигилизма. Поэт остался по-этом.

Стремительно теряю высоту. Прощай или прости, Гергетская Самеба — в последний раз... Я бежал к ней тогда, задыхаясь и спеша, по зеленому, зеленому и оказывался то выше храма, то ниже; то дальше, то ближе к богу — ничего подобного на этот раз.

Гора с голубыми потоками — потеками.

Далее в гостях у тестя Гергетского с зятем Глданским. Двор без деревьев. Стол. Ну и напьюсь же я сегодня жипитаури. Сладко замирает сердце в предвкушение.

Теперь тень натягивает на гору одеяло. Казбек появился целиком, но уже не освещенный солнцем.

Внутри дом занавешен от природы гардинами.

Руки-клещи держат рюмку. У младшего больше морщин, чем у старшего, помнящего еще земляные крыши и вечный огонь.

Да пусть гора задернута гардинами! Вспоминать за столом отчизну, пить за женщин за тем же столом. Восторженность. Непониманье. Прописные истины звучат, как музыка, слышна только музыка. Пропись. Пропасть.

Не забудь глаза тура...

И судьбы, судьбы, судьбы за этими занавесками-гардинами: войны, плен...

И зубы того и нос этого и
Ночь.

Казбек утром. На нем утро, а в Гергети под ним, с освещенными окнами, еще ночь —но там, конечно, уже не спят, давно встали. Похрюкивают свиньи.

Завершаю:

Вблизи Казбека так же далеко от него, как в Средней Азии от пустыни. В горах нет гор, в пустыне нет пустыни...

Остановившаяся машина двигалась, как мост вдоль реки, благодаря обтекающим ее баранам. Оптический обман.

А жизнь идет под знаком невыполнимых желаний — например, иметь кавказскую овчарку...

Только цокот, только топот, только пыль.

Дрожат былинки. У Терека — промышленный шум — он, как домашнее животное, готов работать.

В встречах — случайность. Неизбежность в прощанье. Последние шаги.

Помнишь — уже помнишь — во дворе музея, полном золота листвы в каскаде воды и брызгах — явление женщины-жипитаури?

В городе я разыскал Иосифа Прекрасного, спросил о

поэтах: — Нет, они уехали сразу, как он ни просил их остаться — встреча прошла замечательно, он декламировал...

— Был ли виден Казбек? — растерянное лицо — Казбек, знаешь, как-то очень я суетился, очень был доволен и не обратил внимания, извини.

НА ПУТИ К СЕБЕ

Он понимал — надо остаться одному — обрести себя, когда с утра происходило — как бы это назвать — выталкивание из жизни что ли — средствами самой жизни; на почте он вложил деньги в простое письмо, а ведь мог спуститься этажом ниже, отправить их отдельно и потом не терзаться: не дойдут деньги тому человеку, не дойдут! Такое вплотную выталкивание... нет, конечно, не смерть противоположна жизни, а жизнь сама... Надо побыть с самим собой, успокоиться как-то, — но — непоследовательность — пошел в учрежденье к одному поэту, пальто его висело на вешалке, а самого не было, и ждал больше часа, выходил, терялся в толпе универмага, возвращался, наконец тот явился — увы, ему никак нельзя — заседание, а он-то думал: посидим вдвоем — есть как раз на две-три-четыре бутылки... ну что ж.

Снова улица — куда? — конечно, единственно правильное решение — Авлабар — значит, отсюда в метро — там в вагоне какой-то тип в засаленном плаще — явно авлабарский, замызганный, с клеенчатой сумкой — глава семейства — это мельком, краем глаза, чтобы тут же потерять из виду навсегда, — и, наконец, запах серы: приближение к Авлабару. Как суслик из норы вверх в ветер, в сумятицу улочек — скорее на базар — тот чистенький, всю чистоту которого вершит прихрамыва-

ющий старичок с метлой — базар маленький, камерный, уютный, сегодня еще и пустой: мясники в докторских халатах за прилавками продают туалетное мыло в обертке — на раз-руб — почудилось. А в чайной той, теперь без знакомого буфетчика Гришки, — нет того что нужно, а в другом месте есть, но туда не хочется — и, как в танце старинном и жеманном, стал приближаться, казалось бы удаляясь — с древнеиудейской нерешительностью, к подвалу с вывеской «Хашная», — но теперь четыре часа — какое тут может быть хаши — это уже не хашная, а послехашная: дубовые двери, ступени вниз — сел на сквозняке — но ничего — и остановился на так называемых мужужи — пресных поросячьих ножках, поливаемых при желании уксусом, заказал еще зелень и бутылку расхожего вина — а пока стал грызть фисташки: арахис — орешки земляные, которые купил мимоходом на том базаре возле бочки (тина и водоросли) — с джонджоли — что это такое, засоленные цветы ландыша или что другое — никто не ведает, на чем оно растет — дерево там или кустарник — и заполнял шелухой пепельницу, пока не принесла все, что заказал, странная какая-то блеклая женщина — похоже, что она родственница всем сидящим тут — какая-нибудь пятиюродная двоюродная сестра соседки первой жены; она вяло, без охоты, движется возле столиков — больше сидит. А вокруг густая атмосфера эпоса — никак не проветриваемая — хотя никто плотно за собой не закрывал двери — ни кряжистый человек с бородой — этакий дореволюционный разносчик, оставивший мешок на лестнице и разбудивший старуху — вытиральщицу столов — и они принялись о чем-то оживленно переговариваться, — ни залетевший молодой человек по виду блатной — зверская рожа — золотая изюминка в эпос — так что все привстали и стали протягивать ему стаканы — но он ни черта не выпил, с перевязанным своим указательным пальцем — может быть, он вовсе

не блатной, а пай-мальчик Сержик-Серожа — гордость и опора родителей — кристалл — он десятки раз прижимал к сердцу руку с забинтованным пальцем, кланялся во все стороны, выпил боржом и исчез. Исчез, но о нем можно писать себе на бумажной салфетке, вызывая подозренье у буфетчика «Садитесь, вам принесут» и у этой женщины — родственницы всех. А тут хорошо и согласно единственной молитве: «Боже, дай не торопиться, не торопиться — куда мне спешить», и он потихоньку справляется с мужужи и зеленью и прихотливо, как пожелает — то так, то этак — то недоливает, то переполняет стакан. А обстановка эпоса все сгущается и сгущается — и тип из метро тут как тут — пришел с компанией и с ними старичок — настоящий: балконы, балконы, балконы Тифлиса над Курою приходят при виде его на ум, и дворик какой-нибудь ковровый с неумещающимися дровами и взгромоздившимся на них петухом. Старичка, видимо, пригласили по дороге, как и того с сумкой из метро.

«Я сам себя пригласил — сам себя — блаженно» — запись на бумажной салфетке. А эпос все гуще и гуще и даже различаются отдельные там слова: «Иду (конечно же иду! — эпос — ведь действие) — и вдруг вижу (конечно же «вижу и вдруг» — эпос, что ни говори). — Иду, значит, иду (было много раз «иду» — пришлось проплутать бедняге) — и вижу: «Медный табличку на двери — «Соус из черепаши мяса». Соус из черепашиего мяса! И это тут-то — на Авлабаре! и даже не на Авлабаре, а на Хавлабаре с немислимым таким значком выдыхания или придыхания впереди — авлабар — близко к «х», но воздушней, воздушней. А старик он быстро охмелел — ему и пить не надо было — так он растворялся и излучался, а все-таки выпадал из общей эпической гаммы и гама — хотя и вставлял свое «асети ико, асети ико» — такое, значит, было, такое было! а что собственно? Ничего. Чистое ликование. Световая

природа его питается светом сквозь балконные решетки. Что-то мешало старичку, что-то его беспокоило — одиночество вон того человека, к которому тот так стремился, но старик не мог это перенести и все порывался пригласить его за их столик и вынудил наконец подойти и встать с поднятым стаканом. Растерянно смотрели на него эпики, мифотворцы — «соус из черепашьего мяса» — бычьими, лягушачьими глазами и что-то лепетали про обычаи, нации и национальности: «Мы так знаем, у нас так знают». Он смутил их — подозрительный человек, пишуший на салфетке, — он был чужой — родственница всех, пошептавшись с буфетчиком, принесла ему смехотворный счет с долями копеек — один рубль сорок шесть и восемь десятых. А у старика розовели скулы — наконец-то ему уже ничего не мешало — человек напротив поднял стакан — пусть стоя и пусть тут же собираясь уйти совсем — гармония торжествовала. Старик единственный был не эпик, а лирик.

МАФУСАИЛ

Как-то, мало знакомые, мы встретились с ним на мосту и остановились. Оттуда я показал ему свой дом и сказал, что живу — вон где.

— Нехорошее место, — проговорил он, не спуская с меня своих всегдашних светлых колючих глаз, где готово было обычно распуститься этакое ехидство. Но на этот раз он попридержал вожжи, оказалась затронутой весьма серьезная для него тема.

— Почему же нехорошее?

— А потому, что там очень сильные толчки от землетрясений. — Помилуйте, какие землетрясения?! — Обыкновенные (раз в пять дней; подтачивающие, осыпающие песочек), вот я жил в районе Майдана, фактически на скале, казалось бы лучшего места не найти, и все-таки пришлось съехать. И он сказал, что живет сейчас в Сабуртало (там амортизирующее основание) и сколько он сменил квартир в поисках наиболее спокойного в отношении колебаний района.

...Это, конечно, крайний случай, но как в сущности одиноки наши ощущения! Любые. И не с кем их разделить. Ощущенье всегда одиноко и не с кем его разделить...

Работал он в музее оценщиком, экспертом тайным. Ни разу в жизни, ни за какие блага, он не оценил вещь частному лицу. Только для музея. Пребывал он

обычно в библиотеке. — Что он тут делает? — спросил я знакомую, работавшую там. — Ничего — просто следит за мной — ждет, когда я допущу промах и он сможет съехидничать.

Лето. — Вам не жарко в костюме? — Мне никогда не бывает жарко. Ведь я жил подолгу во всех климатических поясах.

На мой взгляд ему было лет триста шестьдесят. Но однажды он показал мне в роскошно изданном альбоме-каталоге венского музея прикладного искусства цветную фотографию геммы с изображением Августа — римского императора и говорил о нем с подробностями и тоном, каким можно говорить о близком знакомом. — А теперь глядите, — сказал он и долго пытался попасть рукой в карман брюк и наконец извлек и небрежно бросил мне на стол скомканный газетный комочек. — Разверните. Я развернул, и в руках моих оказалась, видимо, очень ценная, не имеющая цены камея. — Обратите внимание, — тот же профиль, но в альбоме он повернут вправо, а у меня влево и без лаврового венка — значит, на моей император моложе, значит, моя древнее. Я приобрел ее случайно в антикварном магазине в Петрограде в 1922 году...

— Да, — заключил он, — приятно, знаете, найти для вещи ее двоюродного брата.

СВЕТИЦХОВЕЛИ

...Исчерченный, исчерканный истерически снующими ласточками. Они — кто? Этим вопросом я занят издавна.

Луг зеленый. Поле. Поле покоя и поле действия. Огромный, непомерный, соразмерный храм и я — наедине — давний, давний контакт и по самому краю зрения в непрестанном движении — группа девочек, девушек, отроковиц — они сходятся и расходятся, словно водят хоровод. Система замкнута, в нее не войти и не вывести никого, взяв за руку.

Храм и я наедине с ним — статика, масса, покой и смятение: то расходящееся и сходящееся вновь в переменных меняющихся на глазах пределах, очертаниях, границах — бессмертное, смертное — волнующее кровь.

И вдруг одна из них с косою через плечо, стройная, крепкая, запыхавшаяся, с румянцем, бессознательно (то есть сознательно плюс бес) выделенная мной из всего равнозначного, равноценного хоровода — отделяется от подруг и подчеркнута отчетливым шагом направляется в мою сторону, к моей скамейке, ко мне! Глаза ее сияют. Что-то не то в выражении — но это так, от чего-то едва сдерживаемого, чему она не дает вырваться наружу. Атомный котел. Коса и глаза. Господи! Она подходит ко мне вплотную, шепчет что-то, чего нельзя разобрать, берет мою руку и пожимает ее... достаточно

долгая секунда... Поворачивается круто на каблуках, уходит так же четко, как пришла. Что это значит?!

Все просто. Это игра. В фанты. И ей досталось подойти вон к тому на скамейке незнакомому взрослому и пожать ему руку.

Храм исчеркан, исчерчен истерически снующими ласточками.

ТЕЛАВИ

Что такое Телави? Если слить все Телави каждого приезда, то получится не один, а два города или все-таки один, но двойственный, ведущий двойную жизнь, двойное бытие. Один из них — Телави «первоначального восторга», до которого не доносится «трепет жизни бедной». В нем оказываешься ночью, тебя проводят старинным, узким, со всех сторон огражденным двориком-садом — тут живет чья-то бабушка. К ней долго не могут достучаться, а достучавшись, долго выясняют — так представляется — родственные отношения, а пока суетятся без спешки проснувшиеся, улыбающиеся тетушки. Со стен глядят увеличенные фотографии умерших. Потом вам предлагают постель с негнущимися от чистоты простынями. Пол со щелями. А на столе, накрытом белой скатертью, графин, наполненный холодным вином, граненые стаканы, горка орехов. Засыпаешь сразу и под утро притворяешься, что не слышишь бесшумных приготовлений к твоему пробуждению и лелеешь голод, которому так повезло с грядущим утолением. А за что?

Другой Телави, живущий под той же старинной черепицей, приводит от всех калиток и ворот на Главную улицу, неизбежную от Площади до Площади. Длинную, короткую, неминуемую. Кружатся в небе облака, под ними в пятне света и тепла — неподвижная группа. На

лица читается ожесточенье, от которого предполагаешь только одно лекарство — отравленный бензином воздух столицы. Переместилось пятно, за ним переместилась группа и вновь застыла. Один из нее отделился — исчез — через час появляется — дал урок в школе. Тут свои особые судьбы... И я стоял в группе, где скучали друзья детства моих друзей. Вот прошел кто-то мимо с большой бутылкой вина — извинился — самого пригласили...

Биллиардная на пригорке. Сквозь запыленное подвальное оконце пробился столбик света. Вспыхнул квадратик на зеленом сукне. Стук шаров...

КУТАИСИ — КУТАИС

Храм Баграта? Представьте рухнувший наполовину Светицховели, а впрочем не с кем ему сравниться, нет ему равного.

Ветерок меж колонн. Да, прошли времена; не унесешь уже на память орнаментированный обломочек одиннадцатого века, ибо любое приобретение ТУТ — неизбежно отзывается потерей ТАМ, где ничего не нужно, кроме пустой страницы. Уношу только ветерок.

Где мы остановимся? Есть, оказывается, на выбор: родственница с качеством необыкновенным: молчит, плохо слышит, хорошо кормит. И есть родственник много говорящий, и к тому же сейчас лето — он один без семьи — вряд ли у него можно пообедать.

Улицы пахнут арбузом или арбузной коркой.

У хорошей родственницы отлично поели, но вино, желая угодить, она дала сладкое. Кричали ей в ухо, чтобы принесла из своих подвалов человеческое — улыбается блаженно, кивает понимающе головой — ничего не слышит.

Пришлось идти к говорящему. Короткая разминка, и он с ходу меня нокаутировал: «Мне жалко этого человека, он сказал правду». Пошли тосты. Мрачность его и юмор. «Что вы за холостяки, приходите в дом без огурцов и помидоров в кармане!»

Это он удачно сказал по какому уже не помню по-

воду, что, служа льву, лучше быть не головой его, а хвостом. И вызывал к жизни библейские истории. Там Авраам и жена его негостеприимная, делающая вид, что не может принять гостей, так как у нее нет муки ТРИДЦАТКИ — так и видишь современную бакалею в покосившемся доме на старой кутаисской улочке. И тут же рядом ангел, дающий пояснения: «Не ты менее гостеприимен, готовый угостить худшей мукой, а жена твоя...», и т. д. и т. д. О, эти ангелы с крыльями и ветвью! Осените меня в этой духоте, заговорите языком Осипа Эмильевича. «Не диво ль дивное...»

А я уже где-то далеко в Вани. День. Кладбище — летное по размерам поле. Неподвижность и тяжесть камней надгробных и какие-то невидимые, летающие, подобно сверчкам или цикадам, по-моему, — лягушки. И сырость тут, кажется, имя существа. Летающие лягушки, почему не улетаете?

И оранжевые зонты, проплывающие над оградой белоснежных имеретинок.

Дивный город Кутаиси. Только туристок надо бы там держать за загородкой — трудно удержаться не хватать их за руку и не тянуть...

Может быть, это древесные лягушки с дудочкой?

Холмы темно-зеленые, с выхваченным светом светло-зеленым — курчавятся. Это все еще в Вани. Позывные его — клекотанье индюшки. Как бы это в стих? И в травы пряные сонливой головой. Кукурузы — необозримо — река течет лениво. И тут же после позывных по проигрывателю: Лермонтов: «Выхожу один я на дорогу» — высшее мыслимое совершенство. Мандельштам потому и дал только отросток кремнистого пути и крик: «И я хочу вложить персты — в кремнистый путь из старой песни». И — я! Да, но... что ж это! Как отогнать мух и сопровожденье домбр? Я хочу — но не тем — чтоб в груди — чтоб дышала — лелея...

Потом ежики — совсем маленький. Чешется, свер-

нулся, как взрослый. Позывные: индюшачье клокотанье.

...Расплата за гостеприимство: «поешь у кого хлеб и он заставит тебя обнажить за него меч», — говорит говорящий родственник — заставил себя слушать до одурения, до муторного сердцебиенья. Мука тридцатка... И еще он говорил: «Ничего не хочу: ешь мой хлеб, пей мое вино — только узнай меня на улице, поздоровайся при встрече». Я смотрел на него и с ужасом предчувствовал: не узнаю, пройду мимо. Что и случилось вскоре.

Кутаиси, — ты стоял на пути — и я пролетал через тебя — насквозь, из конца в конец, не задерживаясь. Меня пролетали. Куда? В Сухуми! В Батуми! — к морю, мало ли куда! Но дважды я приезжал специально и останавливался ради тебя одного. И жил в гостинице один. И помню нескончаемую сетку дождя и звуки до-революционные — пианино. Прислушиваясь. Вслушиваясь.

Ночь. Гостиница. Невинно
Укрывайся и таись.
Дождь. Рыданья пианино.
Кутаиси. Кутаис.

ГЕЛАТИ

Гелати — в который раз — третий, четвертый? — там и пятый забытый затесался — не пикнет. И от всех разов — ласкающее осеннее солнце. Благоуханье.

Цвет камня. Не отвести глаз. И тот же плеск родника под куполом — сводом открытым не на курьих ножках. Блики по стене — что? Глагол тут слаб, весь вобрался в имя существительное. И ниточки зеленые подводного моха колеблет течение. И это можно забыть?! И это забывалось?! Начисто. Не попало на бумагу — пропало. Уйдет, ушло, как сиюминутное тогда ощущение теплоты в затылок льющегося солнца. Все — в одно — мое — тему: все забудется — и этот орнамент и камень — все безмолвно поющее тут.

Облака с синевой. Корова с почти прозрачными рогами.

И насколько все что попало на бумагу — не основное. Наблюденья. Чего там! озирался просто. Вокруг да около. А нужно бы — о совести, о ее усыпленьи. Заснула. Чутко спит, и видит тот же заново прокручиваемый детектив. Там мчится автомашина...

Углы храма.

Плющ.

Это не перебив, а перевод взгляда.

Форма барабана купола предназначена для объятия.
Умиротворенье (Какие смысловые стыки!)

И пенье хоровое.

Крест.

И каменная дорога — круто вбок за оградой —
в конце ее — Христос? Нет, теленок.

Тишина.

Гелати, боже мой, Гелати...

Что? Чудо в камне. Храма. Храмов. Трава. Трава.

И зеленые недалние холмы. И леса, уже таящие
рыжую... невозможно продолжить: рыжее, рыжий —
хоть это только к цвету осеннему предметов разного
рода, столь женское тут, даже не женское, а женщина.
Какие-то заботы, связанные с перекраской волос.
И быть может, в лесу хлопают бесшумно стеклянные
двери парикмахерской-салона, как на проспекте Рус-
тавели... И говорит береза: «Мне — прическу...» «Сей-
час, сейчас», — ей отвечает черный, юркий с сединой и
покручивая щипцы для завивки... А дома: «Здравствуй,
рыженькая!» Халатик ее на стуле-пне. И плащик-плющ.

Туристские будни храма.

Углы храма. Цвет камня. Цвет, конечно же — цве-
ток, чьи корни уходят непостижимо в небо, наверное, исто-
рии. И все труднее и трудней доходят соки. Храмы
разрушаются не от старости, а от непрерывных перемен
в прошлом. Прошлое в кипенье.

У входа старик с тарелкой инжира. До чего же див-
ный! С кармашками для крупной и мелкой сдачи. То
ли латки, то ли кармашки; сто одежек трех рубах, в
том числе старой бархатной. Усы и шапка-чашка или
чашка-шапка — что едино.

Бабочка. Для нее, если и существует храм, то только
в движенье: все время одно уходит или выступает за
другое. Показывается и прячется. Храмы рассчитыва-
лись на порханье, на игру в прятки, удаления и прибли-

женья, смену точек зренья по горизонтали и вертикали. Не бабочки, так ангелы, а они летают и вниз головой и боком, как угодно. Я тут разговорился с одним, спрашивал о... неважно. Он жаловался на перья... Бесшумный свист их...

Оказалось, подспудно я только и думаю, что о ракурсах, отвечаю самому себе на сверхдавнее свое все продолжающееся детское недоумение — зачем это рисуют архитектурные памятники, ведь насколько построить их было труднее, чем после рисовать. Не чувствуют ли рисующие унизительную легкость задачи сравнительно с усилиями строительства? Недоумение детское не исчезло, и каждый раз я начинаю взрослый разъяснять себе малому что-то сложное про объемы и ракурсы, и что храм был нарисован прежде чем построен. Храм принимает участие в разъяснениях. Храм с кипарисом на плече.

Написание слова голубь похоже на голубя. Праздные перебивающиеся мысли. И я заснул на скамье. Удивительно как спящий человек притягивает мух и всякую жужжащую тварь.

...Теперь кипарис переместился с плеча храма на землю, а храм взгромоздил на плечо колоколенку соседнего храма, видимо, стоять он без груза не может.

Пусть себе храм движется как угодно, а я с места не тронусь. Да здравствует блаженная безмятежность и неторопливость. Меня ждут? Зовут? Не слышу. Я — не я. Не хочу быть собою — торопиться, торопиться — куда? зачем? от чего?

Было страшно в сумерки, одному, внутри храма — он в самом деле становился жилищем бога, так ночью природа вызывает сходные страхи.

Ощущение под высотой свода давящее? Нет. Так привыкаешь к потолку 2.50.

Тьма. Пора спускаться в село, где течет Лошадиная Вода. И увижу колодец вчерашнего рассказа. Внизу неправдоподобно коротенький поезд лавирует игрушечный среди холмов.

Что ты можешь знать заранее?
Жди развязки и молчи.
Окна желтые в ночи —
Что там — поезд Пиросмани —
Три вагона, три свечи?

Хочешь проездной билет
От Гелати до Баграти,
От Баграти до Гелати,
Сроком годный на сто лет?

ПЛАН СТИХОТВОРЕНИЯ «ВЕСНА»

О, если бы переписать стихами,
Что прозой складывалось набело.

Появились цыганки. Как всякий год.

Тип появился, стригущий траву строптивой, выворачивающей руки машинкой с бензиновым моторчиком, фыркающим и чадящим. Где они были, где он был всю зиму — таинственное дело! Из дыр рабочей рубахи — молодое тело крепыша; угрюмо сосредоточен, что-то знает о земле — о ее неподатливости...

И появляется и зимой не исчезавший некий — скажем условно, или вернее безусловно — Эмигрант, впрочем точнее — Репатриант. Дряхлый, дряхлый. С каждым годом дряхлеющий. Не успеваешь воскликнуть: Как он изменился, как он постарел! — как видишь — он все такой же, ибо он, по сути, неизменен и вечен — неведомый друг музыкантов и художников, курсирующий мимо художественной выставки между двумя кафе, по Руставели, как некогда в Париже. Борода, трость, одиночество, старость, костюм, малый рост — все уютные атрибуты облика — требуют заботы, заботы, но за всем уже не уследишь...

...Друг мой Гиа Маргвелашвили делился со мной двумя заветными планами: когда у него будут деньги он, во-вторых, хотел бы купить ему новый костюм и послать его посылкой, но не от себя, а от кого не известно.

Каждую секунду возникают, вернее, не в каждую, а в ту — когда открываются, как колодец с плещущей глубоко вниз водою — бездны жизни.

РАННЯЯ ВЕСНА

В самое начало марта вспархивает бабочка. Откуда она так рано? Я верю в проклюнувшиеся почки, в зеленые язычки пламени на казалось безжизненных, сухих, скрученных сучьях из-под каменных обломков. Но бабочка! Одинокая бабочка. Вот когда придет настоящая календарная весна, эта бабочка будет рассказывать молодым про сегодняшнюю необычайную погоду. Бабочка-бабушка.

Зеленое поле усеяно теплыми, пахнущими баранами камнями — их недоуменно обнюхивает взлохмаченная овчарка. Полдень. Солнце в зените. И как сквозь вату — приглушенный щебет птиц, уставших прославлять бытие. К щебету прибавьте — время от времени нетерпеливый звук застоявшегося копыта по земле и изредка нежнейшее пофыркивание. Прощаться, прощаться, прощаться. Все уходит. Прощаться. Прощаться с сутулой спиной Ренэ, обмирающей, обмеряющей полуразвалившийся храм.

Меня тянет ко сну. Я спускаюсь с пригорка к зеленому полю. Сейчас оно на самом деле переполнено неизвестно откуда взявшимися баранами и козами, словно ожили камни. Вытаскиваю из автобуса (Института Блаженных Блужданий) два сиденья и растягиваюсь в центре стада. Возникает надо мной огромный пастух с черным обгоревшим, страшным лицом — что ему надо?

Поздоровался, разбойник. В руках у него белый ягненок. Лежа на спине, я вижу, как запрокинутое стадо, по какому-то сигналу пастуха, вдруг вытянулось в цепочку и, обведенное каймой света, ушло в небо легкими облачками. Я остаюсь с черными камнями на сразу смолкшем поле.

.....
Волосяные сумерки перед отъездом. Женщины с кувшинами спускаются к рычащей темной реке. Но я что-то путаю, это ведь совсем другая река. Совсем другое место. Это возле Ксани. Дом Ксанских Эриставов. Огромный пролет пустого балкона. Представляете, какие тут были пиры! Внизу парк, полный опавших листьев. Спешат, зовут, но невозможно уйти с балкона. Будто все идет пир и тебя не отпускают, удерживают за руки. Поперек скамью поставят — никуда ты не уйдешь. В замке Ксанских Эриставов продолжается кутеж...

Отъезд. Несколько огоньков по дороге...

ГРУША

Груша — Сергея Семеновича, Александра Ивановича — неважно. Огромная, старая. «Мы никогда не срываем с нее груши; только подбираем; они сами падают, как поспеют» — глухой звук падения — шлеп — ох и груши! Груша — достает до звезды.

Трава вокруг усеяна листьями — коричневыми, кожаными — такого же цвета, как сами груши внутри. И журавль колодца. Ночью мелкие облака, как листья, и сквозь мелочь эту — крупные звезды.

В комнате на диване мутати цвета дыни.

Как дышится в этом раю!

Земля ниже себя самой — стелется. Особое чувство — что она на уровне моря. От моря только абстрактный уровень — ничего морского.

Вчерашнее вино, которое будет и сегодня.

Зеленый перламутр травы. Перламутр от утра.

И куры, одна из которых вчера угодила в кастрюлю. (Хозяйка: — Надоела курица, каждый день — курица!)

Подходит к яблоне старушка, к маленькой яблоне — тряхнула и смотрит на яблоки с каким-то отстраненным выраженьем. Подбирает для внучки.

Утро. Утро. Утроенное. Устроенное.

Листики не только кожанные, но еще они высушенные крылышки бабочек каких-то.

Более точное слово вместо сравнение — уподобление.

...Прошел человек с барабаном кавказским, важно раскачиваясь... Если бы не та легковая машина, битком набитая музыкантами с музыкальными инструментами, может быть, не стоило ждать свадьбы...

Светила ночью. Не село, а планетарий.

Пожухлые листья. Ветлы — тополя. Прозрачность. Горы. Голубизна. Свадебные и похоронные поросята шмыгают. (Неточность: на поминках тут не едят мясо). Колодцы с керамическим горлом, с намеком на орнамент — этакая веревочка опоясывающая — гулкие, звонкие — там в глубине двухъярусной, двуростной — ваше изображение.

Реальность вдруг исчезает, уходит, как пол из-под ног.

Все и всё — носит прообраз, праоблик более древний — хеттский какой-то. Танец на минуту дает те лица и жесты. И пенье. Древность. Древность, никуда от нее тут не денешься. Прекрати сегодня, и завтра все обернется клинописью. Труженики, труженики. Свадьба, похороны — предлог — непомерный, сверхмерный, разорительный, но выплескивающий результат труда как бы до тех звезд вчерашних. Что это было? Выставка звезд. Варсклавис гамопена. У — какие органные звуки.

...Все о небе — ничего не сказал о земле — жирной, глинистой — мерзлой ночью, отогревающейся у костра. И рыльца свинские у самых углей.

Костры, котлы, двор зеленый, свежий ветер. Кто-то поторапливает, торопит, спешит — приспешники шофера — ему завтра на работу — а властвует неторопливость.

Хорошо, что утром выпил чачу, потому пошло вино — синкопа такая.

До чего вкусно пьют морщинистые крепкие старики.

А женщины молодые кусают фрукты: хурму или яб-

локо, чуть сгорбясь спускаются по лестнице деревянной.

О колодцах все сказала Ахматова: «Журавль у ветхого колодца». Окончателность — свойство классики.

Чугунки отдыхают в траве прокопченные.

Напряжено тело свиньи, копытцами взбрызгивающей твердую землю.

Двор — эзо — можно бы разделить на прямоугольнички, и это готовые картины — целый мир, если поднести вплотную к глазам: травы с листьями. Не ковер травы, а ковер-самолет травы. Она не причесана, да еще в фиолетовых полевых, палевых цветочках. Трава, ждущая бесплотных прикосновений бесплотных овечьих губ. И в центре всего — груша.

Груша повита мхом и наделена сознанием.

ЛОЖКИ

В роще — индюшки, подернутые золою, как тлеющие угли... Манглис, Манглиси через 25 лет! Словно меня и не возили сюда каждый год на дачу — все пережато — только вот дорога к базару, терявшаяся за пыльным поворотом, но раз, два, три шага — как это получилось, шаги семимильные, что ли? — а я уже на базаре и так близка бывшая даль.

Каким же был базар в то воскресенье? Сейчас трудно воплотить его множество, выделить характерные лица — они бесследно пропали. Ну там какие-нибудь бесцветные личности со связками красного перца и сухопарые оперные контрабандисты с кукурузными початками... Можно было бы для полноты картины переселить сюда кого-нибудь из города, скажем, того человека, наконец-то однажды увиденного, приводящего сосиски в пивную, что на углу, — с шоферами, лишенными на год водительских прав — прогремевшего оцинкованными дверцами, в одеянии могильщика. Или, скажем, чем не колоритен древний старик-рыбак, некий дядя Костя? Какого-то Шакро он вспоминает, научил купаться — я его, говорит, научил купаться в Куре. Да-да... Не плавать — нет — именно купаться. Его руки — инструмент универсальный, а в глазах — речное, бесцветное — хоть уди, хоть купайся... Тифлис, ау! Нет, им сюда нельзя (какой-то закон, запрещающий перестановки),

пусть себе там остаются, как и тот поливальщик из Горьковского сада с наиновойшей резиновой кишкой, бормочущий, что ему ее недодали на складе — тридцать, сорок метров, а заставили расписаться за все, и — совсем уже нелепость — из того же сада — балетных девочек, прибегающих в сад на перерыв из балетной школы, напротив — поиграть в волейбол: грациозные, как бы не участвующие, отстраненные, снисходительные движения — и мячик попадает в бассейн с водой — да так, что не дотянуться, но — чудо — они его манят руками: плыви, плыви, и он приплывает, сам, без видимой причины, медленно, медленно, неуклонно. Ну куда им сюда! Тут нужен кто-то другой. Вот он и появляется на авансцене манглисского базара — человек лет сорока — назовем его Местный. Ух ты, как он постарел, но я его сразу узнал, хотя столько лет прошло! Узнал ли он меня тоже — не знаю — во всяком случае, не подал виду. Еще бы! Это ведь он одалживал мне минут на пять за определенную мзду и унижения двухколесный велосипед (мне велосипед так и не купили: попадешь под машину), и это он зажиллил у меня мое сокровище мальчишеское — настоящий финский нож. Как сейчас помню — говорил, очень он ему нужен на сегодня, а потом не отдал. Я взглянул на него искоса и, может быть, тут сыграло роль боковое освещение, впервые увидел так называемую радужную оболочку глаза действительно радужной, переливающейся всеми цветами, впрочем, преобладал ядовито-зеленый с золотым оттенком. Слово в глазницы было вставлено по навозному жуку! Перед нами стала навьюченная лошадь — подрагивающий коричневый бок, перекинуты ковровые хурджины и — ух ты какие! — весы коромысла: кизиловая палка, медные чаши и медная же цепь, а не веревка. Мы поговорили на базарные темы. Местный сказал: — Самые дешевые — с лошадьми, за ними те, кто пешком и на машине, самые дорогие — на ишаках... Да, они самые

дорогие. Но — мимо. Все это в тени. Обнаружился световой фокус базара.

В стороне от общей толчеи стоял старичок, продающий деревянные ложки. Великолепные. Настоящие. Не фабричные. Вожделенные. Неокрашенные, конечно. Воистину деревянные. С длинными ручками. Девственные. Чуть пахнущие. Головокружительно. Стоял — улыбаясь. Безусловно, слегка лукаво. Лучась... Ложек было три. Одна большая и две маленькие, остальные, вероятно, уже распродан, хотя, кто знает, у него его еще мешочек. Почему большая? — Один рубль. (Улыбка. Улыбка. Что за улыбка такая! О чем?..) — А маленькие? — Шестьдесят копеек. — А нет еще ложек? (Лихорадочно: может быть, у него есть другие — и получше). — Нет. (Улыбка. Улыбка. Улыбка). — А в мешке? (И тут же шмыг в мешок без спроса). — Нету. Там яблоки. — Да, нету... Значит, — сколько большая? — Рубль. — Маленькая? — Шестьдесят. — Нет, один рубль за большую и маленькую. — Говорю по возможности жестко. Бросаю рублевку, беру, не дожидаясь согласия, две ложки — и, не оглядываясь, иду к выходу... Местный блеснул мне навозными жуками — одобрительно, словно присутствовал при этой сцене. Вперед, вперед — по дороге к роще — там прошелестит мне Манглис двадцати пяти и более летней давности... там маленький мальчик в белой панамке... Но начались, начались терзания. Я погубил промысел! Старик уже не будет делать ложки. Дела и без того обстояли худо. Это была последняя капля — мое хамство. Попробовал бы так поступить с мясником, даже с мацонщицей! Я поспешил вернуться, но базар был уже пуст: старик ушел. Теперь остается ждать до воскресенья; как же протянуть целую неделю?! А может быть, увижу старика раньше, — по четвергам тут — «маленький» базар... Но чего там! Старика не будет, конечно, ни в четверг, ни в воскресенье. Еще бы! Рубль за две ложки... Я достал их из свертка. Понюхал. Что

это — липа, каштан или вишня? Спросил у проходившей старушки — говорит — груша.

...Все узнал, несмотря на асфальт, — все равно поворот остался прежним и дома — вот там жила Ася с детьми, а тут где-то рядом — я. И повсюду такое маленькое пространство, казавшееся тогда необъятным. Боже мой, переход от этой сосны до пионерлагеря — такой короткий — почему он казался долгим? — впрочем, долгим тогда было все, и каникулы длились вечность.

И сосну я узнал — раздвоенную в форме лиры-вилки.

Прорезывается зуб воспоминаний. Вот футбольная полянка и заколоченный дом. Тишина — минувшая, былая — и с трубами вдруг вдали военного оркестра: на зов его бежит девочка — пылая — а звук, может быть, еще более давний, совсем уже ко мне не имеющий отношения — с тех пор, когда роща называлась Кадетской. Так ее, впрочем, именуют и теперь... Старик-ложечник розовоскулый, дай ему бог прожить еще долго. Так ложки его грушевого дерева? Дешевые, грушевые, грошовые. Зайчик. Зяблик. Светофокус базара. Улыбается, черт, неправдоподобно, сказочно. Рассчитано на детей. Кого же он напоминает, на кого же он похож?.. Ну да, конечно, на Эйнштейна — автора теории относительности — тот же рост, та же седая шапка волос, то же сияние... И в тишине явственно: Шура! Шура! — по роще — меня — мама? Зачем? Что-то катастрофически призывное. До сих пор остался этот крик любви и власти — и несется мимо постаревших сосен. Конечно, он принадлежит другой маме, другому Шуре, но как не вздрогнуть и инстинктивно, мысленно не бросить все: мяч, гамак, скакалку, девчонку в сарафане и не бежать на зов. Зачем? Почему? Ведь ни меня, ни мамы нет. Кажется, кто-то непрерывно подражает кукушке... Сосны с зарубками, свежими и зарубцевавшимися, наверное,

есть и мои зарубки, — а как же иначе — не из коры ли я делал тогда кораблики?

Был жаркий день. А была еще сегодня утром дорога в Манглиси — в переполненной такси — с полудетскими коленками под боком, летящими в зеленые луга, из опущенного окна их овеивал ветер. Знакомая дорога — не знакома. Линия гор — какая? — прощальная: словно перед концом провезут попрощаться с нею, взглянуть в последний раз. А небо и впрямь голубое и не в родстве с зеленой травой, — зеленое задабривает его желтым и белым ромашек. А впрочем, синие горы вблизи-то — зеленые, так что, может быть, глаз неба видит траву синей. Все вокруг тут создано словно для ощущения полета, — и я с внезапным озарением понимаю: в Манглиси господствует идея планеризма.

В мешке ложечника в самом деле оказались яблоки — несколько штук — сухие, маленькие — не на продажу — это он ими питается по дороге.

Вот я иду в штанишках и беленькой панаме за волами, и, кажется, взмаху руки с прутиком подчиняются две черные громады...

Лес редееет. Лошаденок, сосущий жеребицу. И кучки гусиных перьев — точно разбившегося ангела. Вылетевшая птица сама испугалась и меня напугала. И дупло в дереве — готический алтарь, внутри пустота — черный от огня бархат. Лошаденок лег, как мертвый, и жеребица горделиво, лебедино выгнула шею. И это не все. Потом они побежали рядом, и тут же возникло то, куда они вбежали, — заросли полуколючих трав, брюхо отталкивало их, как борт морскую воду... Почему это тогда я уступал красивых девочек некоему Вове, некую Лелю, например?.. Я забыл, что меня формировал Манглиси, и вспомнил, когда увидел этот кустарник: густой, редкий — издали, вблизи — и шишки под ногами. И путанность и паутина... На кого же еще похож старик? На се-

бя, на Эйнштейна, кто же третье лицо? Должно же быть третье...

Корова машет хвостом, еще более огромная оттого, что на нее смотрит кошка. Человек — трепыханье листика — потрепыхав, исчез в листве. Во что мы превратимся потом? И война индюшек с воробьями. И вольный ветерок, не созданный человеком, не побочный продукт скорости, езды. Он сам по себе гуляет. И кораблик подгоняет. Что будет дальше? — спрашиваю без интереса к дальнейшему. Только бы пришел старик в воскресенье... Поляна. Строения. Вполне американская улыбка у буфетчика хинкальной. На бочке пива — автомобильный насос, а вместо кружек — поллитровые банки. А помнишь ли, насосы эти когда-то были желтой меди? А в полях за открытым балконом снопы с магнитными свойствами удерживают какое-то давнее лето. И даже не одно, а сколько — не сосчитать. В разгаре лето тут в былом и длится в настоящем осень. И не лето, а сплошной летний день. К земле по твердости спортивной — прилечь щетиною седой. Дни в день сложились непрерывный. Не слышу скорости земной. А что если деревья ощущают ее, и есть у них чувство вращения земли? Тогда кто стоит и кто движется — мы или они? Солнце просвечивает сквозь листву. Листвы цветные витражи — переливаются, пересыпаются скучно и бедно... как в плохом калейдоскопе. Ухмыляюсь. Я знаю, в каком: сам принимал участие в их производстве. Ну как же! Это по улице Серебряной — подвал с бумагорезальной машиной. Там я работал некогда. Тоже давность и еще какая! — не манглисская вовсе и с последними всплесками гужевого транспорта в городе. Вот и обнаружилось третье — на кого еще похож старик — да на Исаака Моисеевича, считавшего себя изобретателем калейдоскопов, только он был похудее и без ореола. Наверное, старика уже нет в живых. Никто не называл его Исааком Моисеевичем — все Ишаком Моисеевичем — но

тот не слышал, а если и слышал, то стоит ли обращать на дураков внимание! Глупо! И не смешно. Сам он, как выяснилось, тоже умеет использовать близкое звучание слов, но! когда это вызвано житейской необходимостью. Этот Исаак Моисеевич втравил уважаемого заведующего — Льва Вениаминовича, понимающего толк в одной лишь бумаге, — открыть производство калейдоскопов. Уговор: Исаак Моисеевич, как изобретатель, будет получать с каждого выпущенного калейдоскопа одну копейку (в те времена — десять). Для начала раздобыли два мешка отходов прозрачного оргстекла. Исааку Моисеевичу поручена была покраска. Взаялся он покрасить у себя дома — но развел такую вонь, что жена его выставляла. И вот Исаак Моисеевич с победоносным видом притаскивает два мешка. Далее диалог с Львом Вениаминовичем: — Что это такое, Исаак Моисеевич? — Как что? Засыпка. — Но вы же сказали, что принесете — крашеную. — Нет, я этого не говорил. — Как так не говорили, а что же вы говорили? — Я не говорил, что принесу крашеную, я сказал — крошеную — я три дня разбивал ее молотком! — Нет, вы сказали — крашеную! — Нет, я сказал — крошеную. — Крашеную! — Крошеную!

Крашеную, крошеную, крашеную, крошеную, краш, крош, крош, краш, крах, кышь, брысь! Но ведь вся эта сцена уже не существует для меня самостоятельно — она накрепко привязалась к совсем другому. Я иду по Серебряной улице и показываю своей спутнице носком ботинка: вот тут я когда-то работал в этом подвале, ныне заколоченном санитарной инспекцией. Давным-давно, когда-то... Одна давность наваливается на другую. А спутница моя... чем она была виновата, она не знает, что все связано с еще более давней давностью, что меня формировал Манглиси вот на фоне этого кустарника-шиповника-чепуховника и кизила... Там все началось, и девочки, нравившиеся мне, доставались Вове, а я доставался девочкам, которым нравился сам. Так и

пошло впредь: вместо легкомысленных романов по романам же — нечто тягучее, тянущееся мучительно — сам потом не знаешь, как развязаться, а оно все тянется и тянется — черт побери. И я «портил» им жизнь. А все-таки как хороша была тогдашняя моя спутница по Серебряной улице! Ах, как хороша. Но... да еще и властный крик мамы из рожи: Шура!

Воспоминания — укоры, уколы. Минувшее действительно миновало — кануло — и где-то пребывая, в каких-то темных кладовых — становится прошедшим, которое нам еще предстоит. Что это — прошедшее? Кто вызывает его? И оно стремительно всплывает из глубины, как поплавок — на самую малость, на посторонность себе, на листвы цветные витражи.

Мне приснится сон: Эйнштейн и старик-ложечник, если и не в одном лице, то в одной лодке, а за ними по берегу бежит Исаак Моисеевич — антипод их — с двумя мешками некрашеной засыпки: возьмите меня с собой! Нет не возьмут — все-таки он вздорный и мало приятный старик...

И потянулись дни и ночи той недели — попеременно дождливые и солнечные. Дождь шагает по огородам, дождь величиной с сосны. Я на открытом балконе, как на капитанском мостике, плыву под зелеными парусами. Балкон открытый... но что может дать это словосочетание — «балкон открытый» — из бывшего, из его действительно бывшей тогда открытости? — ничего... Мокрый конь на поляне под дождем переступает ногами. Хозяин его где-то у себя дома посмотрит на небо и подумает об оставшейся лошади — что-то очень не городское... Как деревья выдерживают влагу? Какие-то существа пара и тумана играют в футбол на опустевшем поле пионерского лагеря. А что если потоп? Пошел дождь, который, кажется, был всегда. Реки земные свернули со своего пути, пошли в небо и оттуда через сито вниз — неиссякаемый круговорот. Пустая собачья

конура чернеет, и ржавеет цепь, которой на самом деле нет, однако следует вообразить ее покрытой каплями дождя с коричневыми потеками. Капли на чем? На листьях, на иголках, на стволах. Побеждает команда пара — 2 : 0. Пузырьки. Звук трубы водосточной, в которой не хватает одного колена. Что будет со мной? Есть вещи посторонние дождю: штукатурка и кони. Эй, хозяин коня! Где ты? Трава препятствует потопу. Внутри же собачьей будки, наверное, сухо, пахнет пылью. Льет. А что делает сейчас старик-ложечник? Выпил стаканчик сливовой водки, кличет какое-нибудь домашнее животное — теленка с нечистым хвостом?

Конь еле поместился в комнате. Очень уменьшилась комната, когда он вошел в нее, одолев ступени... А может быть, такая концовка: ура! ложечник появился, он продолжает делать ложки — закончить так, хотя его и не было на воскресном базаре, как лошади в комнате. А между тем пришли коровы, каждая в свою калитку — и, стоя, сказать ли — улеглись, как горы.

С утра вроде бы хорошая погода, но облачно, — спросить насчет погоды у хозяйки? Вот она внизу возле крана. Впервые вижу ее без косынки — голова седая, но коса осталась черной. Не коснулась косы седина, не дотянулась. Значит и Нэнэ была когда-то молодой. Вот странно! Она расчесывает волосы, и в выражении лица что-то не только знающее о погоде, но даже как бы и ведающее ею — есть такие выражения, но спросишь — все тот же ответ: — Откуда знаю! Сегодня у нее гости: дочь приехала с мужем и внучкой. Ваню ее не пошел косить по этому поводу — предвкушает выпивку — вот он несет две курицы на заклятие. Нэнэ смотрит, добродушно прищурясь, и — дымится уже чахохбили в танце двух обезглавленных кур.

И прогулки, прогулки днем. Фиолетовые стволы сосен. На пригорке конь, заигрывающий с осликом, — мышастый и коричневый. Ослик вел себя вполне как да-

ма. Целуются, встав на дыбы, а потом, долго ведь не прстоишь, и они — не знаю, насколько это верно, — какой-то малоупотребительный глагол — прядают. Тишина. Кузнечики, нет, сверчки и крики птиц. Как же это я мог прожить двадцать пять лет, забыв начисто о Манглиси, об истоках собственных? Забыл, как Исаак Моисеевич, о том, что сам в детстве имел калейдоскоп, возможно, еще своего деда, и счел себя потом его изобретателем. Так и думал — он ведь не жулик вовсе.

Просторы, просторы Манглиси, и гуси ходят друг к другу в гости — прошествуют важно в калитку, а на просторы есть автобус — деревенский — лучше, чем такси, — во мне назревает отвращение к скорости. И три домика вдаль, каждый из которых хочется назвать мельницей, хотя вблизи нет воды, но вьется дорога, как речка. Манглиси словно не существовало все эти годы, более того: то тут, то там при упоминании о нем, дачном поселке, испытывал неприязнь, видимо, выплывало только: как! и в этом году туда же! — скука, связанная с замедленным течением времени, с каникулами, длящимися вечность. А на самом деле тут царствует идея планеризма, и Манглиси, исчерпывая себя в нас, — вовне остается прекрасным, даже прекрасным тройне... Вернуться, посмотреть, чем кончился роман коня с осликом? Ослика запрягли в тележку — и она уже тарахтит за скошенной травой. А к коню привели законную жену — такой же масти, как ослик, — дымчатую, стройную, безмятежно жующую. Но... никаких игр между ними... И качаюсь в гамаке — гость лесного царя. И с высоты сосны парит листок что ли — парашютик. И в разгар упоения природой — давнее к ней равнодушие — бессмысленное, не говорящее сердцу зрелище ее, вдруг делающееся привычным... Я встретился с нею через несколько лет в Москве — выглядела она плохо, постарела. Она сказала: «Посмотри на меня, — что ты со мной сделал». Я ужаснулся... Это было давно, после того про-

шла еще давность и, может быть, теперь тогдашняя она показалась бы мне еще очень молодой...

А на реке Алгетке камни рождают камни. Вот кругляк — высвобождается, вылупляется из глыбы... По-над водой твое лицо легко относит солнца пламень. Смотри: скала рождает камень — почти готовое яйцо. Снесет, тогда прицельюсь метко, в тебя швырну невесть за что — речонка с челкою — Алгетка. Лет через сто. Лет через сто...

В манглисской пивнушке — кухонка с окном в рощу, где невидимая личность, имеющая имя, не помню какое, лепит хинкали. Видеть его можно, если нагнуться в приемное окошко со стороны буфета, там он орудует у плиты с огромной кипящей кастрюлей, помешивает прекрасной деревянной ложкой с дырочками — дуршлагом — великолепная штука, правда, в одном месте на краю уже отломанная — наверняка, она работы того же старика. Можно было бы договориться, заказать ему такую же. Эх, не придет он, не придет.

В четверг с утра я был на базаре — увы — никакого старика с ложками — одни мацонщицы и зеленщицы с пучками морковки. Пусто. Я опустил на лавочку, — может быть, еще рано, и он появится позже? Навесы, навесы базара — деревянные — их попеременно то мочит дождь, то сушит солнце немилосердно — они того же серого цвета, что ослы и заборы, — братья тем корягам окаменевшим, которые выносит на берег Алгетка. Я и не заметил, как рядом сел Местный. Мы не поздоровались. — Старик бывает только по воскресеньям, — сказал он. Следовало бы удивиться: ведь я не задал ему вопроса. Откуда старик? — подумал я про себя и тут же получил ответ, который, впрочем, может быть, был продолжением сказанного им: — ...Он из Ахалсопели, это не очень далеко отсюда, но для него все же путь длинный, два раза в неделю — ему не осилить. Я поднялся, не прощаясь, — просто такое неприметное

движение руки — взмах, остановленный в самом начале. Решительно не хотелось вступать с ним в какие бы то ни было контакты.

...Так, значит, старик из Ахалсопели. Я был там и в его окрестностях дважды: в период Летнего Блаженства животных и Зимнего Опустошения, был с Ренэ, которой нет уже в живых... но о ней — не тут. Там каменные могильные плиты — удивительные — Ренэ относила их к средневековью, — загадочные — без фамилии и отчества — безымянные, даны только знаки прижизненной деятельности: там — лук и стрелы, тут — арба умильная — в плане — вид, так сказать, сверху, но колеса наивно изображены плашмя; молоток, серп... Когда умрет старик, никто не выбьет на его плите ложку с длинной ручкой — изящную, как скрипка.

...Были ночи, помню, кто-то бежал с луною, как с фонарем, — спешил ужасно, перепрыгивал через кочки. И совсем невиданное: мелкий дождь при луне и тени птиц. Ночные ласточки с собой уносят блещущие дачи. Луна меж туч и дождь слепой. Какой-то внезапный и зрячий. Все—бег, все—бег: дождь и луна. И только медлит Маргарита. И рукопись не сожжена. И шапка мастера пошита. Я пить готов под плач зурны, тут где-то быть должны духаны. Не виноград, а свет луны прол:т в граненые стаканы... А иногда какой-то отблеск загробной жизни — освещение красное, как в фотолаборатории. Что же это было с луной? Прежде всего, интенсивность. Она сотрясала скованные предметы: оконный переплет, табурет... Вначале в рваных тучах — она была чем угодно — кораблем, коньком, драконом, тлеющим огоньком подаренной мне сигары, женской нежащейся спиной — чем угодно, только не диском. Затем, освободившись от одежд, голая — она уставилась ослепительным оком. Нужно было вскочить с постели, сбросить все и знать одну-единственную зависимость. И перелететь провалы ночи. Ямы ночные. Но тут луна заслонила лодка с тремя

фигурами — двое светлых и один потемнее с ними. Со- стоялся следующий разговор. Один светлый дру- гому:

— Как я вам благодарен. Прекрасные места. Ничего подобного я не испытывал. Как вы сказали называются эти деревушки около Ахалсопели?

— Зербити, Гохнари.

— Ух, ты (продолжает задумчиво, как бы про себя): Что в имени тебе Зербити, Зербити и Гохнари, что? А эти надгробья — удивительные, вот ведь относятся к средне- вековой, казалось бы, разгар юного, пьянящего чувст- ва собственности: мой замок, моя крепость, мой дом, моя земля и даже — моя могила — ан, нет — и вот какое умаление перед лицом вечности — полнейшая безымянность...

Темноватый:

— И что вы нашли в этих дурацких плитах. Ерунда. Кладбище. Терпеть не могу кладбища. Никогда не ходил ни на чьи похороны — ни разу не был на кладби- ще — даже когда умерла жена у заведующего Льва Вениаминовича — не пошел. Эх, как это было давно. Давность какая. То были последние всплески гужевого транспорта в городе. С биржей на Навтлугском рынке. Лев Вениаминович всегда посылал меня договариваться с возчиками — нужно было привозить бумагу. Ну рас- плачиваемся, а возчик рассматривает деньги недоумен- но — вертит их в руках: «Это для лошаду, — говорит, — а для минэ?» — и так каждый раз. Хе-хе-хе...

Светлый:

— Прекрасные места. Чудо. А тишина какая! (Почти неслышно, заунывно, может быть, как шмели, запели сосны).

Темноватый:

— А что тут хорошего? Деревня как деревня и горы как горы — ничего особенного. Я, знаете, — потомст- венный зеркальщик. У моего отца до революции была

в Тифлисе зеркальная мастерская, и мы никуда, ни на какие там пикники не хотели ехать. Я это не люблю, и, согласитесь, ведь в разгар, так сказать, упоения природой — давнее к ней равнодушие — тьфу, что это я говорю! А что это за полоумный там на балконе? Э, да я, кажется, его знаю, мы с ним вместе работали. Личность темная. Этаким чистоплюй, но меня не проведешь...

Другой светлый:

— Я тоже, кажется, его знаю — у меня с ним малоприятная произошла история с ложками. Не хочу на ней останавливаться. Давайте вернемся ко мне в сад. Припасена отличнейшая сливовая водка. Посидим... ведь так дивно кругом! Есть ли еще Грузия другая?

Лодка уплыла, но луны за ней не оказалось. Провал. Чернота. Полнейшая пустота. И утро: мир рождается из пустоты, сосущей, как утренний голод. Все облито уже солнцем: грядки и листья. А деревянный пол дачи — румяный, как персик. И полновесный звук переливаемого молока, но о пустоте только что бывшей — петушинный, выматывающий крик, и таракхтенье телеги — все это о пустоте пространства, бывшего незаполненным... Сияющий Ваню — пошел мыть под краном стаканчик — счастлив вдвойне: Нэнэшка уехала в город смотреть родившуюся внучку. С удовольствием и я бы выпил с ним этой паршивой пшеничной водки — она тут к климату. От крыш пошел дымок. И все-таки при всей деревенскости — Манглиси — не деревенский — в нем нет особого запаха гостеприимства настоящей деревни. Манглиси — дача. Ни у поленьев, ни у заборов нет того — мысли о еде, угощении — что ли...

А в лесу всегда чей-то разбойничий свист — вполне мирного селянина, или женский зовущий голос. А из молодых елок — вовсе славянское — вышла старуха-грузинка с кривыми палками. Да, случилось-таки единственное возможное несчастье — ежедневно приходившая в калитку корова не пришла.

Кто я? Гулливер — не угнаться за мной, не угнаться, мне, мальчику, которого привозили на дачу в Манглиси. Раз — шаг огромный — и где она, страна детских странствий, за дырою в заборе, называвшаяся тишиною. Где ты был, куда ходил — меня спрашивали. В тишину, в тишине, тишиною... Свершилось! Ваню меня пригласил. Был стол с той самой водкой, жбан пива... И со стен фотографии увеличенные — возможно и живых, но снятых, казалось, для похоронного шествия. Стоит так сфотографироваться — и — непременно конец. А Ваню в белых подштанниках вытянулся на кровати: покойник в честь субботы. Уже суббота! И тень моя уйдет с этого балкона. Юное, юное небо после захода солнца и рано зажегшаяся звезда с булавочную иголку. Стремительно темнеет. Неправда! — в природе нет этого — темнеет. Сейчас глубокий сумрак. Никогда не стемнеет, если наблюдать непрерывно. Все течет благодаря устройству нашего зрения. Стало ли темней? Да, стало. Стало, однако было ли светлее?

И роща, усеянная светляками-велосипедами: подростки мчались бесшумно, с зажженными фарами — зигзагами меж стволов. И рог луны. И звездность. И вопрос о запропастившейся кастрюле с балкона. Ты спрашиваешь, где кастрюля, как спрашивают про звезду. Звезду, летящую, как пуля, в небесном ковшике найду. А что сейчас, скажем, в Майкопе — возле какой-нибудь керосиновой лавки? Кастрюля и звезда — едины. И настает время вины перед Манглиси, истощенным во мне. Завтра — воскресенье.

Местный стоял у входа на базар с повязкой — видимо, дежурный регулировщик, что ли, дирижировал потоком продавцов: сюда с курами, туда — с яблоками. Цепочкой проскользнули контрабандисты с кукурузными початками. Заговорщицки подмигнул мне своими египетскими скарабями: — Он тут... Рывок — и я рядом со светофокусом базара.

Он стоял в стороне от общей толчеи с ложками, разбросанными на расстеленной холстине. Большими и маленькими. Их, с выражением брезгливости, перебирала толстенная матрона. Улыбка, улыбка, улыбка. «Концы его улыбки, не шутя, уходят в океанское безвластье». Нам надо остаться наедине — пережду — пусть она сгинет. Наконец старик один. Далее — действие на уровне подошв моих ботинок, приблизившихся к ложкам. Улыбка, улыбка. Явно он меня не узнал. Нагибаюсь. — Большая? — Рубль. — Маленькая? — Шестьдесят. — Это груша? — Да, груша. Очень хорошие. — Нет, так не пойдет. Один рубль за большую и маленькую.

Бросаю бумажку и, не дожидаясь согласия, взяв ложки, направляюсь к выходу.

ХЛЕБ НЕМНОГО ВЧЕРАШНИЙ

А может быть, удел прозы: история стихотворения — пусть даже и ненаписавшегося.

Это светятся сами потемки
Там, на грани забвенья почти.
— Что несешь в ненесомой котомке?
— Я несу Кубачи в Кубачи.
Здравствуй, медное в черном нагаре,
Я тебя по ошибке отверг...
Кубачи на воскресном базаре,
На воскресном базаре в четверг.

Как же оно возникло, это слово Ку-ба-чи? Что это — шапка или меха гармонии перебираемой — той кавказской-перекавказской, в общежитии студенческом? Когда, когда? В те баснословные года — вдруг появляются два дагестанца. Но ведь ничего дагестанского не увиделось за их светлыми усиками и странным выговором. Ничего. Или точнее: это мне не увиделось, не услышалось, не извлеклось. Откуда же Кубачи? Ведь все бывает до себя. Мои Кубачи до Кубачей — откуда? Но и те двое все же приносят свой кирпичик — ту же гармошку, а может быть, и шапку баранью с завитками, за ненадобностью пылящуюся возле ножек железной кровати...

Дышат меха растягиваемой гармонии — и — никакого звука — только выдохи и вдохи сквозь клапаны не-

крашенные: так вначале — два студента в общежитии, а потом через два десятка лет — мальчик на цветном одеяле с гармошкой. И тусклый свет в окошко,

Звук ушел. Беззвучный образ
..... витал.

Мои Кубачи — я услышал о них впервые в степи (плоскость выжженная, пыльная... Колючки), — и степь пошла естественным строительным материалом для горного села. По мере того, как я узнавал, что там горы, — горы стали делаться с помощью отбрасываемых теней на стену. И приходят какие-то бородачи в тулупах или бурках и варят чернь. Ту самую, которая ляжет по серебру поющими линиями.

Что такое чернь? То же серебро, но смешанное с серой. Температура плавления черни на несколько десятков градусов ниже температуры плавления серебра. И это тоже искусство — вовремя перестать дуть огнем из так называемой фэфки, ведь можно расплавить саму вещь. (Жест сверху вниз дирижирующей ладонью).

Все эти познания пришли ко мне из небытия. Он сидел среди новоприбывших, неприметно выделяясь. А через несколько месяцев я стою на страже, пока он кует дагестанский клинок. Для чего кинжал? Ни для чего. Проба заскучавших сил бога металлов. (Бедный отец мой, мне кажется, нечто похожее на ревность просыпалось в нем, когда я рассказывал ему о моем старике.) Это он, мой старик, сам для себя сделал скрипку. Последовательно это происходило так: в клубе была завалящая скрипка, без смычка. Он сделал вначале смычок, но слишком хороший (по лучшим туртовским образцам) — поэтому пришлось по смычку делать новую скрипку. И я вычислял ее на логарифмической линейке два дня (старик предсказал, какой у нее будет тон) — все рассчитано было математически — внутри некоего главного закона звучания скрипки, гласящего: чем не-

расчетливо красивее скрипка — тем лучше ее звук.

Как это в армянской побасенке? Потихоньку, постепенно, вдруг выходит царь. Это оборот «постепенно, вдруг» — мне кажется универсальным. Так постепенно, вдруг была создана подпольная алхимическая лаборатория. Вначале она поместилась за кулисами клубной сцены... Странно — столько мужчин вызывалось играть женские роли! Поблескивают строгие режиссерские очки... Где ты теперь, бывший «большой человек» на железнодорожном транспорте?.. От клуба не осталось и горстки пыли, а я могу с закрытыми глазами пройти по этому в общем-то начисто забытому клубу через зал, не задевая длинных скамеек, подняться по ступенькам на сцену и выйти к ее задворкам, а в нужном месте я протяну руки и ощупаю висящие пузатые пандури, бандуры, чонгури, балалайки и прочее, в том числе и ту скрипку — так за ненадобностью оставшуюся без смычка...

А где-то (но мне это тогда еще неизвестно) в Лувре висит маска черта (черт не очень точный перевод), в которой он танцует на кубачинских свадьбах. Мне доведется увидеть эти раскрашенные войлочные маски, словно замазанные цветным мелом, и еще я увижу металлическую маску хана, «заканчивающего празднество». Появляется эта маска, и все уходит в прошлое. Там, в Кубачах, мой старик в молодости изучал искусство чернения по серебру, но так как он родом с Дона, о котором много рассказывает, то в моих Кубачах невольно в какой-то мере течет Дон. А раз так, то все еще идет девушка вдоль реки, и медленно, близко-близко, мимо нее проходит мой поезд где-то под Ростовом, но это совсем другое и не тогда и не отсюда.

В Подпольной Алхимической мастерской вначале мы делали все из серебряных ложек, приносимых мне мамой. Потом, когда ложки кончились, старик начал готовить серебро из неблагородных металлов. Между

прочим, отправным материалом ему служил свинец — этот продукт окончательного распада урана, считающийся мертвым. Из ничего ничего не родится. А у нас родилось из свинца. «В мире еще много такого, чего не снилось нашим школьным учителям», а я учился в школе в те еще времена, когда алхимия считалась наряду с кибернетикой лженаукой, а превращение элементов осуждалось как посягательство на периодическую систему Менделеева, систему Станиславского и учение о слюнных рефлексах.

Я и теперь могу превратить одно в другое, например, свинец в олово. Я возьму кусок мертвого свинца, накрою его стаканом, произнесу нечто... и получу олово — по внешнему виду такое похожее на свинец. Но, во-первых, оно будет хрустеть, потрескивать, как хрустит только олово, когда его скручивают, а во-вторых, оно будет паять — чего уже никак свинец не может...

Подпольная Алхимическая!.. Старик уедет, а лабораторию обнаружит некий слабоумный, и застынет перед длинным рядом бутылок, где наклейки педантично, рукой старика, свидетельствуют, что в них кислота такая-то, щелочь такая-то — все, что применяется в Кубачах. Но что-то помешало прогреметь грому.

Помню, писался акт в сторожке, и три скучающих джентльмена — Вася, Вася и Вася смотрели, томясь, в потолок. Мне тоже было скучно, но Кубачи уже были в сердце моем и, развлекаясь, я громоздил горы, вызывал бородачей в тулупах и бурках варить чернь.

Как ни далеко ты, Дагестан, я уже кое-что умею, разбираюсь в твоих орнаментах, кое-как дую в фефку (правда, непрерывно, как это необходимо, у меня не получается, приходится все-таки рано или поздно судорожно вдыхать воздух после длиннющего выдыхания), умею держать в руке резец... Как-то показалось, что старик обронил, будто главное в мархарае (это такой

орнамент) — добиться, чтобы рисунок казался то черным по белому, то белым по черному. Теперь я понимаю никчемность и недостижимость такой задачи, но тогда я все изобретал этот невозможный мархарай, этот вечный двигатель.

И пахнет юностью...

Те далекие дни потеряли собственно дни, я не смог бы вспомнить ни одного целиком. Дни теряют дни... Дни теряют дни.

Странно, почему-то восточный затейливый орнамент стал светом тех дней — светом, пришедшим издалека, из каких-то дореволюционных Кубачей, где старик постигал свои серебряные премудрости... И приходят люди в бурках...

Дагестан — тридевятое царство.

Дагестан, моя чернь! Дагестан моей мечты — то всплывал, то погружался, погружался и всплывал. Идет столько всего после. Как сохраниться моим Кубачам? Их затопило потоком последующей жизни во всей ее неотвратимой подробности. И сейчас, пока поезд (тот же самый Тбилиси — Баку) приближает меня к этой цели в составе экспедиции от Института Блаженных Блужданий — Ренз и К°, которая для удобства может в дальнейшем именоваться гарем, — мне трудно везти с собою мои Кубачи.

Это светятся сами потемки,
Там, на грани забвенья почты.
— Что несешь в ненесомой котомке?
— Я несу Кубачи в Кубачи...

Едем, едем, едем — сияет Ренз — и — шатается, а я еду не еду. Где-то, что-то было такое во вчерашнем саду с явлением старухи.

А поезд на этот раз движется в ожидаемом правильном, а не мнимом обратном направлении.

Электрические завокзалья, заросшие бурьян-травой или разрыв-травой, лебедой, лопухами и крапивой.

А еще вот что: только что умер — сообщили — Бажбеук-Меликов, тот самый художник, который жег полотна свои во дворе, и едкий дым и жирная копоть летели на развешанные новогодние простыни... Сколько смертей в этом году, начиная с Анны Ахматовой!

И уже не люди, а со стороны кажется — автомашины участвуют в похоронах, — и в этом можно убедиться, если засесть к концу дня на Площади Героев — в том павильончике под ветвями с хмурой старухой — вытиральщицей столов, принесшей в знак приязни три помидора — мне, Тамазу и Гие, а вокруг площади все шли и шли непрерывно автомашины по дороге к кладбищу.

Издали они казались игрушечными, а обтянутый черным грузовик с покойником приблизился, и было видно покачивающуюся голову на твердой подушке, набитой песком или опилками, наверное, опилками. А когда повезли автоинспектора, то все машины гудели, гудели, пока не скрылись из виду. В них ехали голубые автоинспекторы, а тот автоинспектор, голубой, дежуривший неподвижно в центре площади с мотоциклом — вскочил в него и в глубокой задумчивости сделал круг...

Вчера я плохо выспался, так как среди ночи заговорила пожарная стена напротив — гнусавым вокзальным голосом, точно тронулась с места. Я рано встал и ушел в хашную и наблюдал этих хашистов — любителей хаши, чьи глаза были ожидающе устремлены в сторону угла, не попадающего в поле зрения, оттуда появлялась официантка. Словно специально растягивая ожидание, она приносила вначале ложки и вилки (доставая их из фартука), затем хлеб (из буфета), потом лимонад, если вы его заказывали, стаканы, и только потом неожиданно появлялась с хаши.

Лицо сухонького, чистенького старичка выражало крайнее, сверхкрайнее детское нетерпение. Но он не издал ни звука. Он пришел раньше, а получил хаши позже многих. И стал, бормоча, осыпать его хлебом.

Существует, видимо, два типа хашных — самообслуживание с гардеробными бирками (берете у буфетчика бирку, получаете у повара хаши и несете его на высоте в толчее над головами) и вот такое, с официанткой.

А в конце концов и базары, и бани, и вокзалы, и закулочные — это своего рода оборудованные отправные пункты для путешествий. Очень хороши потолки старых серных бань, их трещины, когда лежишь на спине, как-то особенно ощущая твердость мрамора.

Но ничто не возвращает дни целиком.

Я непростительно прошел сегодня мимо двух человек: один из них — предсказатель — стоял, прислонясь к дереву, с попугаем на пальце. Надо было заплатить мелочь какую-то уже за одно то, что попугай у него не улетает, а только переступает с одного пальца на другой, и обратно, а незаметно, чтобы у птицы были подрезаны крылья.

Второе и того хуже — я не подал нищему, пошел по инерции мимо и поленился вернуться, а нищий был в тибетейке, той самой среднеазиатской, с орнаментом, напоминающим разрез амебы. А двое мальчиков свернули со своего пути и бросили ему мелочь в просторную кепку (сосуществование кепки с тибетейкой). От того, что я не вернулся тогда — меня бросает в жар — становится в жарком вагоне еще жарче. Так в жару пахнет еще большим жаром, когда на солнцепеке открывается дверь из тоннэ, где пекут грузинский хлеб...

Еду не еду.

И прохожу царство ног в общем плацкартном вагоне. Снова восторг и тошнота. Тошнота восторга. Помню, когда я был еще со своим стариком, — в центре поля был сооружен бассейн-фонтан с плавающими рыбками. Бассейн остался, но с рыбками вышло неудачно: пришли с работы работяги, разулись — опустили разгоряченные ноги в бассейн — после этого рыбки не жили. Но может быть, рыбок и не было вообще. Не помню.

Этот поезд везет с собою особый климат и не расстается с ним. И развязать шнурки ботинок — равносильно акту помилования.

Когда проходишь общие вагоны — там среди сумбура его всегда есть одинокая девушка, она отделена от вагона, не слита с ним, но на лице ее нет отчуждения, напротив, лицо светится, оно дарит общение — сильно, заинтересованно, чисто, всему: лицам, рукам, ногам, рубашам вокруг, сбоку, снизу и сверху.

Но какой оказалась эта старуха, согласившаяся приютить на время отъезда птицу! А мне она казалась ведьмой, сидящей с табличкой «телефон не работает» на действующем телефоне. Какое царственное величие у этой вахтерши!

А за окнами тьма, тьма тмутараканья, и вдруг в нее впились две молнии.

И этой ночи тягостный сосуд,
Переливающийся тьмою,
Как комары, впиваясь, сосут
Две молнии

Камни штабелями на станции — похожи на мешки упаковочные. Петляй же, шнырай. Моя любовь к водонапорным башням и к этим хоботкам — поильцам паровозным. Тяжесть тяжести. Легкость легкости. Мы выехали на сцену. Над темной черепичной кровлей светло движутся тополя, тополя. А газоны вокзальные хотят катиться. Мальчик в ярко-бледных голубых брюках. И почти во сне — много клетчатых мужчин и женщин в платках и бритый тип, спешащий, и еще другие, и темная — животом вперед, и все с тяжестью, тяжестью, сколько тяжести. А поезд принимает все эти жесткости в свою жесткость. Камень снаружи — упаковка, внутри — тяжесть. Вероятно, несут не только камни. А потом, повернувшись, я перестаю видеть несущих, и за окном стали проплывать геометрические формы тяжести:

цилиндры, кубы, параллелепипеды, трапеции, ромбы, конусы и, наконец, желтое нечто, может быть, по геометрии Лобачевского, с поддерживающей сверху рукой.

Вчерашние птицы, вчерашние птицы. А что эти птицы? Не вспомнить... Без предупреждения уходят поезда, надрываясь неслышно. Буфетчик озабоченно режет колбасу длинным ножом. Ящики, уйма ящиков с пустыми бутылками. Тара, тары-бары. Тартарары.

Умер Бажбеук-Меликов.

Захочу, — и запоют не только названия станций:
Алят, Аджикабул, Мисюсли...

Запорный кран воды холодной,
Запорный кран воды горячей,
Запорный кран воды какой-то
И клапан промывной.

Ходит человек, гладит сном разогретых, непросыпающихся женщин на верхних полках.

И туманное пятно синего цвета. Глубина на плоскости.

Стена неба. Оштукатуренное ровно, вертикальное небо, небо — строение длиннее, предрассветное. И золотая степь за черными цистернами. Накоротко остриженное золото. Добыча золота поставлена на промышленную ногу. Золото, сложенное кирпичиками у дома (где доят черную корову).

Кое-где золото чуть зеленое, и птичий гам сильнее шума поезда. Зеленое серое, как тогда. Точка на окне летит на горизонте самолетиком неотвязным. Как в телевизоре — по футбольному полю — точка — второй мяч. Причем, бегают в основном за этим мнимым, он больше в игре, а на стадионах считают — за настоящим. Ничего подобного. Наступают великие футбольные события. А можно не интересоваться футболом?

А я начинаю постепенно потихоньку вдруг ехать на быстро мчащемся поезде. Сосед Мефистофель, завер-

нутый в простыню, с выпирающим носом и бритым подбородком, не шевелится.

Аджикабул. Опять Аджикабул! Поглаживают дыни. Земля тут родила дыни. Какие дыни! «В Курдамире не было дыни. — Не может быть (Курдамир без дыни!). — Ну что я бы себе не взяла!».

Вот какие разговоры. Поглаживают дыни. Несут бережно — так и надо. Дыни золотые на ощупь.

Соломенные заборы. Человек-земля в спецовке. Что делать овцам в золотом? Чабаны уходят за зеленым. Опять прекрасные овцы вроде среднеазиатских — с головой на шарнире. Желтое солнце в желтой занавеске. И растут они, как их там, факелы коричневые на зеленом стебле. Я везу Кубачи в Кубачи. Закружи меня, окружи... Только узел... развяжи. Я его развязать не умею...

Баку.

— И сразу попадаете в наш быт (женщина, ведущая нас к себе).

А это значит — по шлангу течет вода из комнаты на первом этаже во двор, где расстелен огромный ковер, и по нему ползает толстенная баба и водит шлангом и щеткой.

— Смотри, какой был грязный!

И в ковре открываются окна (чистоты). А другая толстенная, совсем молодая, не ползает, сидит себе лениво. А та принялась дополнительно поливать ковер из ковшика... Одна лоза на четыре балкона. На четыре балкона лоза. И снова довелось войти в комплекс дворца Ширваншахов. Бутафорными шагами в этот комплекс бутафорный. Ну и жара! Перегрев. Перегрев. Я поливаю гарем, нажав пальцем на тощую струйку питьевой колонки.

Руки бакинского сапожника-чистильщика. Что за руки — будто ветки пришли в ход. Туда-сюда — заскоружные ветки со щеткой. Перегрев. Перегрев. Вот когда

проскальзываешь в калитку, а за нею улица вся увита виноградом. Лозы виноградные у основания ограждены прутьями железными. Знаю, вечером спустится вот с того балкона вниз по тому двору небритый тип в шлепанцах и майке-безрукавке с ведром в руке, подойдет к лозе и охлюпает ее водою...

И нож в этом ворохе кож полусапожника-получистильщика. Я еще не встречал чистильщика, который не потерял бы хоть на мгновение щетки.

Душа львов у чистильщиков: малейший шум на улице — и он выглядывает хищно из-под очков, выглядывает из-под мирной профессии воин...

А во дворе, во дворе, там, где мыли ковер, — там, в том месте на асфальте темное пятно-отпечаток.

Надо приехать в Баку и в той подворотне-туннеле шепотом вызвать Жанну.

Я мылся под кранами, стоящими на балконе в ряд перед каждой дверью. Я рад, что мне это было дозволено.

А еще кусочек базара. И зрелище города сверху.

Помнишь залив и гидроплан? И дворик, где играли в нарды с арбузом у ног, и парк с аттракционами?

Посадить бы когда-нибудь в повести внешне такого же, как этот старик, на такую же бешеную центробежную карусель, чуть не задевающую верхушки обступивших деревьев. Кружатся старик и грудной младенец на руках молодой матери. На лице старика (он, видимо, немного пьян) блаженство. Но описать это трудно.

А я все никак не приеду в Баку (вот я уже в нем третий раз) — в тот город, где был некогда с отцом...

И не спастись сегодня от жары и не бродить уже под фонарями. Баку еще течет...

Зашло солнце.

Спускается тип в шлепанцах полить виноградные лозы. Стало темно. Удивительно. Стало темно. Хорошо еще раз подняться по этой улочке. Хорошо, что я умы-

вался под кранами, в одном из которых струйка спускается по марле. Я знаю, что у человека шестое, седьмое, восьмое, двенадцатое чувство—не голода, не страха, не головокружения, не потери равновесия, не осязания, не вкуса, а чувство дома. Многие понимают это сразу и, не успев приехать, не успев ступить с платформы, уже ищут, повинуюсь чувству дома, — где бы остановиться. А я бунтую. Зачем останавливаться, если проездом, если... и т. д. и т. п. Забываю о чувстве дома. Нет, не тоска по дому, а чувство дома — пусть десяток неудобств, — но нужно получить удивительное право подходить вот к таким кранам...

Не забыть старика на карусели.

Тоска по собственному дому к чувству дома не принадлежит. Чувство дома — древнее, с пещерных времен. Еще раз не забудь старика на карусели и как на какой-то момент его, видимо, закружило, а улыбка блаженная осталась и стала вдруг маской... Чувство дома, чувство крыши. В небе небу потолок. Не забудь старика на карусели. Это как по всей квартире Ги, когда уезжает жена: — Полей цветы, полей цветы, не забудь про цветы...

Ночь. Утро.

Вчера солнце вылезло из-за горы и успело стать сразу кусачим, как молодой перец примерно через месяц после того, как он появляется на рынке. А сегодня оно вышло из-за равнины — не солнце, а краснеющая, обитаемая планета.

На остановках садится смешливая серьезная публика, говорящая гортанно-негортанно, певуче-непевуче на каком-то, конечно, выдуманном языке. И улыбающиеся тростиночки с мешочищами. Гнущиеся тростиночки. Приподымут мешок и подтолкнут его коленкой в узком проходе вагона.

Дербент. Вдали крепость. Мне говорят: «С античны-

ми слоями дербентская стена». С античными? Тогда все в порядке. Это приносит странное успокоение. Отсюда мы поедем на край света в Кубачи, дальше дороги нет (это неправда).

Синагога. Захожу спросить насчет рукописей и фотографирую двух патриархов. Белую бороду на солнце и в тени — против света с каймою световой. Море с плавающими, откуда-то взявшимися в разгаре лета, осенними листьями. Палыми, горьковатыми. Призрачные купальщицы. И утреннее вино под вывеской, где нарисованы бутылка, стакан и цена за один литр и пол-литра. Играет по радио гармошка. И чисто подметенный пол и вежливый виночерпий, по совместительству продающий снаружи яблоки по 20 копеек, иногда заглядывающий в помещение узнать, не скучаем ли. Я не знал, что тут это условная формула — «не скучаете?» Но я не взял больше одного литра. Вино очень подходило к зною — оно было, как сказал бы Мандельштам, с «муравьиной кислинкой». А вчера ночь и нефть.

Кубачи.

Первый крик: — И можно было прожить без этого?!

По дороге человекоптица
. человекоптиц
Длинный клюв на солнце золотится.

Первое: И можно было прожить жизнь и никогда не увидеть это?!

Второе: Так вот откуда 1001 ночи!

Чувство дома. Чувство дома. Деревянный потолок. Керосиновая лампа. Божественный суп — рис, горох и плюс что-то невыявленное, невыясненное — все-таки, наверное, горох.

Это, это, это, я, я, уже на свадьбе сразу, постепенно вдруг — и где? — тут, тут на свадьбе в Кубачах! И снова бараньи шапки сидят за столом. Тени. Керосиновая лампа. Керосиновая лампа. Тени колышутся... Где это? А не

вы ли это, вы все, крепкие, ладные, — откуда те тени, что приходили на стену в бурках варить чернь?

Столько лет прошло!

Пищит ребенок, и мальчик ногой, как автомат, качает люльку, а ребенок то замолкает, то пищит тихо. А в комнате на стене мерцают подносы медные.

Голова, голова разболелась, пока шел — столько шуму и это — самое ужасное — радиопомехи. На столбе, усиленные ущельем стократно. Мне сказали: — Это не слышат. А я слышу. Я так жаждал тишины, которая в звуках жизни — мычании теленка, деревенской возне. Ведь не может этот сверхуникальный, единственный аул превратиться в прогулочный катер! Не может... может.

Я стою на плоской кровле. На плоской кровле! Простираю руки. Молю... Та свадьба — вспоминаю, засыпая — та свадьба будет завтра продолжаться — и черт ряженный будет танцевать на свадьбе — в маске войлочной, одна из таких масок, мне сказали, висит в Лувре. О, я понимаю, не понимаю эту свадьбу, которая внезапно закончилась (но я не видел, чтобы появилась маска хана, заканчивающего праздник).

Она также внезапно кончилась, как и началась: подошел какой-то человек и ткнул меня в бок бутылкой коньяка в знак того, чтобы я следовал за ним беспрекословно. Это форма приглашения.

Звезда в тоннеле над домом. Дома — объемы. Светятся. Господи, в каком доме был и где и по каким улицам я шел! Завтра, завтра. Еще завтра? А они, провожая, все хвастались: мол, могут тут пройти с закрытыми глазами. Но и я могу — не знаю, как, но знаю, что смогу — жульничать буду — как эти с кожным зрением или еще чем-то, подглядывать буду, но пройду, и двух шагов не сделаю.

А керосиновая лампа все горит. На нее надевают тут шапки бумажные, колпачки... Лишь бы не радио... Да. А вы делаете эти гениальные подстаканники, вот эти?

Это называется на вашей фабрике — массовка? Кубачи и подстаканники — что ж, исконная форма. Кинжал, пояс, кувшин узкогорлый и подстаканник. И подштанник.

Подарить серебряный черненый подстаканник на юбилее директора департамента. Горит керосиновая лампа. Живое пламя. Изыди ты! И он ушел и провалился; может быть, в том плетеном сортире вниз головой. И я пойду вслепую и включусь автоматически в разговор никому не нужный и дотошный. А вы, а вас, а как, не затруднит ли хрен и сука сучья и прочее, и псы и городовые. Вежливость, вежливость, вежливость, и я готов вступить в беседу о Эусебио. Эусебио — это же Эусебио-о, и смотреть друг на друга выпученными замороженными глазами. Кто этот Эусебио? Конкистадор оголтелый или застенчивый мальчик в кружевном воротнике на картине испанского мастера. Переоденется, поиграет в футбол и сразу же обратно.

А как же продолжение стихотворения о человекоптице? Что-нибудь о чибисе, ибисе, египетском с клювом? А вчерашнее море с плавающими горьковатыми листьями? Но здорово знать не знать, уколоться о колючки, возвращаясь. Знать не знать. О чем это? А все о том же — когда кончается празднество, когда появиться хану. Это внезапное прекращение назойливости, вызывавшей к неумеренности.

Звезды, звезды над безднами уборных. Звезды, звезды — и — звезда. А утренний поезд с обитаемой планетой солнцем? И удивительные места с ведром огурцов за один рубль, а потом за пятьдесят копеек. И то не взял проводник. Мера веса — ведро. Мера веса — ведро. Что же снится в первую ночь в этом ауле? Мне — летающие люди, и сам я учился летать. Но об этом подробнее после, в каком-нибудь отрывке «Сон». А может быть, тут все сон. И эти ковры. И этот фарфор, и эта щель в другую комнату с мерцанием медных под-

носов. И эти потолки, и эти потолки. Сейчас я расскажу, каким должен быть потолок: балка большая одна и балочка поменьше, поперек — много — и сверху поперек балочек обшивка. И ковры внизу. Не забудь про сон свой. Да, жизнь, оказывается, должна быть украшена — вот в чем суть — смотри обои — как они ловко огибают балку! И не боятся ширпотреба. В конце концов, дверным ручкам не обязательно быть уникальными. Воскресенье здесь в четверг. С длинным клювом человекоптиц. А утром мусульманский конь бьет копытом на противоположном склоне. Ковры. По ним ползает собиратель конфетных бумажек навощенных.

Конечно, я забыл свой сон.

Открылась дверь, и выбежали, ударяясь боком о дверной столб, три осла.

Эти не мои, — почему-то счел нужным сообщить хозяин, там у него на первом этаже их целый гараж. А ночью со свадьбы мы шли, огибая коров с телятами рядом. И я шепотом спросил: — А что, коровы спят стоя? Одна корова стояла возле строенья, уходящего ввысь. А шедший далеко впереди услышал шепот и сказал: — Нет, они не спят стоя.

И мы прошли эти темные, темные — что? В проулках со звездами.

Аул — ау!

Увел-таки мусульманского коня муравей. Подошел и увел по тропинке.

По зеленому склону напротив окна бежит девочка в красном платице. А в темноте эта белизна покрывал за плечами женщин, подобная прохладным крыльям. Летающее было в воздухе самом. Так я вспомню сон свой.

Постиранные крылья.

А у Кузмина: те два крыла напрасных за спиной. Сказать про крыла — напрасных — высшее. И сколько не колдуй с прохладными и постиранными, все это, так

сказать, бескрыло в сравнении с теми окрыленными на-
прасными...

Я еще не гляжу на аул — боюсь. Скажем пока так:
какой-то фокусник швырнул колоду карт, и застыли
карты в воздухе бесчисленными плоскостями — плоски-
ми крышами. Сколько веков длится этот фокус?

Стоят на полке большие кувшины — мучалы без
ручек. Как их носят женщины — тайна для мужчин. —
Вот тут так этим как-то обвязывают длинной белой мате-
рией, — объясняет Гаджи. Тупость лиц, которая не ту-
пость. Тупые разговоры умных глаз. Красивая девочка
хозяйки тут, и там у другой, и приятно спросонок слы-
шать переступанье босых ног по ковру. Девочка чистит
медную посуду. Женщина идет за окном с огромным тю-
ком трав. Ты так всматриваешься в сегодняшний день,
точно не было вчерашнего и позавчерашнего. И сегод-
ня ведь плавают вчерашние осенние листья в Дербент-
ском море. И эти черные худые прожаренные типы си-
дят в чайхане. — Все мы евреи, — заявили они с гор-
достью, а чай подавала и подавала еврейка-чайханщица
разбитная. Но можно ли оторваться от сегодняшнего
дня, от этого аула?

От этого аула отлепиться, отклеиться. Зачем? Мель-
кает человекоптица... Что за наваждение с этой птицей?

Оторвать склонившуюся тень,
Но мелькнула человекоптица,
Унесла... день.

Я в ауле! Я допущен в аул! Тень орла непостижимо
мягко обрисовала контур горы. И дети в парадных шта-
нишках. Сопли с конфетами. Остро пахнущие конфетами
горы конфетных бумажек.

И коня уводит по тропинке
. человекомуравей.

Синий аул и белый. Белый и синий. Медный, черный,

прокоптелый. Ты посмотри на эти кувшины, а потом толкуй, что должно и что не должно быть украшенным. Отсутствие украшений — стиль нашей эпохи? Тронусь резцом — оставить след на меди... Живут, живут кувшины, не молчат. Этот утолщен в этом месте в осуществлении каприза. Стали приданным прокопченными эти бока. Тут в каждом доме такая комната-музей, с медной посудой и фарфором — голубыми средневековыми китайскими чашами-пиалами в трещинках.

А с утра кто-то все на чем-то играет вдалеке внизу. Завязывается вчерашняя свадьба.

И это не просто музей — в каждой кувшине вода — они служат — вот почему они дышат. Они живые. И каминные резные. Резные каминные. И ковры к настроению. И настроение к ковру.

Застыло сфотографироваться, держа в руке чеканный с чернью пояс. Не различить кропотливого узора.

Пекарь в пекарне сказал: «Есть хлеб немного вчерашний...» Немного вчерашний. Вы ели хлеб немного вчерашний?

Ощущение бесконечности на этих улочках, которые кружат, вьются. Никогда теряющаяся прямая не даст такого ощущения бесконечности.

Душа меди не меньше, чем душа камня. Я вошел в душу меди.

Шафи... Что придумать о тебе, Шафи?

Ты: «В этом свете темные внутренности оказались голубыми».

СВАДЬБА

Длинное — коротко?

Капля, свисающая капелька пота на поющей дудке. Капля пота на дудке — это ведь лучше, чем сказать — звуки сельской свадьбы. Просто: капля пота на дудке.

Море белых покрывал, развевающихся, реющих по

крышам, по крышам, по крышам. Появляется пляшущий черт в кольчуге, подштанниках и маске войлочной. Маске, по которой тоскует, издыхает Лувр.

Сосед мне шепчет: — Если все устроить по закону... (т. е. по всем правилам)...

Я восседаю на почетном месте. А по кругу все бродит, прихрамывая и вскрикивая что-то, тип с метлой. Он от чего-то очищает свадьбу. — Почему бы ему не вымести меня? По какому я здесь праву на почетном месте? А у черта часы на руке. Танцует. Танцуют. А тот метет и метет. Что там случилось?.. Но этот камень так мягко упал ей на голову.

Капелька пота радужно переливается на конце дудки.

— Бедный человек с другого аула. Он хорошо играет. Кубачинские мотивы он не знал — мы ему подсказывали.

Бухгалтерия свадьбы: только коньяка 60 бутылок.

— ...Если все сделать по закону. Вот раньше, когда кто-нибудь делал нарушение на свадьбе — обижал гостя, пьянел или еще что-нибудь — его штрафовали — могли пойти к нему и зарезать в пользу свадьбы корову, быка, овцу — что попадетсЯ. Сейчас нарушения подстроены. Видишь — женщина «украдала» барабан у музыканта и побежала — за нею погнались с палками — а там уже есть специальный баран...

Вернулись, танцуя с окровавленными в баране палками. А черт — с головой барана, над которой он некоторое время измывался (вливал вино). Потом побросали палки как по команде. Между прочим, на свадьбе — ни жениха, ни невесты: не полагается им.

Невесту только позже проведут скрытно в толпе подружек в дом жениха, — причем будут вести путанно — минувя дома и улочки, где что-либо нехорошее случилось... Почему? Он не произнес — суеверие, хотя прекрасно знал это слово. Он сказал: — Они учитывают торжественность обстановки,

Месяц, похожий на пламя свечи. Этажи. Этажи. Покрывала в сумерки. Господи, где мы? И видения при свете факела. Ждите, ждите жениха и невесту, ждите, они появятся...

Кувшины, кувшины, кувшины... И странное состояние ночью: если увижу еще кувшин — еще один — начну бросаться. А все благодаря тому типу — он, оказывается, не провалился тогда... Он еще будет появляться. Чем он занимается? Красит масляной краской деревянные части, которые не догадались, увлеченные резьбой, выкрасить в прошлом?.. И все-таки он не причина, почему оказались невыносимыми кувшины, особенно тот маленький, ни в чем не повинный, стоящий на полу возле умывальника.

Кувшин легко переносимый,
Смотри-ка — непереносим!

Просто так, что ли: «И еще ты тут под ногами!»

Всходит солнце, бросая светлое пятно на ковер. В том же месте, что вчера и что завтра. Пятно начинает перемещаться, расширяться, сужаться, делиться.

О чем молчат чаны-котелки? За окном Кубачи всегда в одном и том же ракурсе. А сколько их, если начать ходить?

Что такое, не упасть ли ниц?
Длинный клюв на солнце золотится —
По дороге человекоптица,
Или как там — человекоптиц.

А как же будет без плоских крыш? Во-первых, сократится пространство, а во-вторых, откуда смотреть сверху на свадьбы?

А вчера я так и не сообразил, что невеста там за спиной, в том доме, возле которого мы сидели на бревнах, и пела дудка и высоко на палке горел факел. А я почему-то ждал ее появления снизу. А она таилась ря-

дом. Как же так — не ощутить за стеной присутствие невесты?!

И симметрично две белые молодые сидели на подоконнике в одном окне и два черных в другом рядом. И всплески смеха и непрерывное жужжание. Там их судьба, в той комнате, где находилась тогда невеста.

Невесту прячет толпа подружек в белых покрывалах.

Должно быть, так же, как аистов в Бухаре, — мне не удастся сфотографировать — уловить самое, казалось бы, тут частое: одинокую фигуру женщины высоко на плоской кровле с развевающимся за спиной белым покрывалом, всматривающуюся куда-то (женственно глядящую в морской бинокль)... Ухитряется оставаясь — исчезнуть.

Оба плачут: младенец и тот, который не хочет качать люльку, а качать приходится...

Все дальше Каспийское море
..... Дербент.

Колосок к колоску, связывают кубачинские веники. Брат и сестра ушли за ними в три часа ночи и вернулись только в три дня. Вот это школа терпения — так складывать колосок к колоску.

— Ерунда, его не надо учить терпению, он сам терпение.

Последний луч пойман самой высокой саклей.

— А что новое?

— Это творить старое, это и есть традиция, а не подражание.

Расул: «Они не оценивают мысли — им пустые места представляются незаполненными — не ценят мысли, платят по заполненности: — Вот это 50 рублей, это 30 рублей, это 20 рублей. А может быть, 20—100?».

Идем за деревянными ложками. «Женщина с деревянными ложками» оказалась мужчиной.

— Аул — сумасшедшие абстракции плоскостей над коровами.

Одно из главных чудес — пополнение запасов воды из родника. Всегда полные кувшины в музее-комнате. А солнц столько же, сколько подносов.

Ты в платке ... до бровей,
Посмотри, несущая кувшины,
Как коня уводит...

Ослы кричат похоже на несмазанные двери.

Или:

Опусти сегодня до бровей
Белый плат — несущая кувшины.

Кубачи дают себя увидеть с противоположной горы.

Что такое, не упасть ли ниц?
Длинный клюв на солнце золотится,
По дороге человекоптица,
В черном фраке человекоптиц.

ПОХОРОНЫ В АМУЗГИ

Я хотел бы продолжить то, что замаячило в Средней Азии, — эту тему «Художник и народ», где художник оказывается неким народом в народе, но Кубачи обращались одним-единственным, все множество вокруг — в одно: все уходит — этого не будет уже — все уплывает, выскользывает из рук, и эта минута лишь кажется такой, что ее забыть невозможно, — ее не будет, и не только ее, а целого часа не будет и целого дня не будет, дни только и делают, что теряют собственно дни. И что остается? Некое воспоминание о чем-то, о ком-то, скажем, о предмете, оторванное от того, что было, а было это состоянием плюс предмет — было предмет состоянием слитно, а не врозь, как врозь оно в этом суррогате — воспоминании, которое по-настоящему не имеет ни предмета, ни состояния. В усилии бес-

памятства больше предмета состояния, чем в воспоминании.

К сожалению, я помню только то, что условно назвалось «Похороны в Амузги» — помню что? Ничего, то есть факты. Они заключаются в следующем. Мы пошли из Кубачи по дороге к селу Амузги — там некогда выделывали клинки, слава которых идет с шестого века. Гарему хотелось не только браслеты из Кубачи, но и ножи из Амузги.

Когда мы пришли в Амузги (дорога по законам памяти — опускается) — важен факт: и пришли в Амузги, но не лучше ли забыть факт и помнить дорогу? Единственное, что отвоевываю у ничего — синие цветы на лацкане скалы), оказалось, что село это разрушилось. Там жить осталось всего несколько человек — старуха страшная, старик жалкий, еще несколько человек и Кады-Али.

Кады-Али говорит, что ножей уже не делают давно. Причина — приходящий фининспектор (значит, я ошибся, тот человек вовсе не маляр негодный, он фининспектор). Мы просим Кады-Али показать хотя бы кузницу — и — он ведет нас, сам ведомый, на похороны в Амузги.

Я могу сказать, он привел нас в кузницу, и это будет означать, что я запомнил факт. Но, к счастью, я забыл это. Поэтому мрак кузницы совпадает для меня с темнотой забвенья — лишь постепенно глаза начинают привыкать и обживаться, и вот выступают мех, потом наковальня, кажется, не совсем обычной формы — во всяком случае нечто, которое понимаешь сразу, что наковальня. Щипцы всякие — все покрыто не то золой, не то пылью запустения.

Кады-Али в собственной кузнице начинает представлять, изображать, что бы он и как бы делал, если бы работал в ней: садится на пол, опускает ноги в специальную выкопанную яму, кладет на колени к себе эту наковальню странной формы, берет молоток, хватается

за палку, приводит в движение меха. Спадает пыль, зола, и они тяжело вздыхают. Затем он берет клещи, затем...

Звук меха. Осыпаемой пыли или золы...

Главный мой недостаток — недодуманность, недосмотренность, недо... Я не в состоянии что-либо додумать — как это сделать достоинством? Мне не додумать ни эту тягостную сцену с Кады-Али, изображающим, как делается нож, ни даже этот оборот «хлеб немножко вчерашний».

Мысль — это то, что лежит чуть дальше пришедшего в голову. Мне не дано додумать. Придумать — да. Додумать — нет. Я что-нибудь придумаю. А выход один — что придумать нельзя.

Я чувствую, есть несколько уровней жизни: и там, когда Али изображал, как делают нож, и веяло отчаяньем от этого действия, где-то краю глаза виделось другое подводное течение, относящееся к самому Кады-Али (не к Амузги. Для Амузги — все кончено). Может быть, угадывалось то, что назвал Пастернак обманчивым порядком творенья: «Порядок творенья обманчив, как сказка с хорошим концом».

В отчаянии не было отчаяния. Но тут я оставлю Кады-Али. Мы уходим, и все глуше голос его вслед: «Если ловит лесник с дровами — ведь для этого дела нужен только древесный уголь — штраф 30 рублей, если ловит фининспектор — увидит, как жжешь дерево на угли, — 50 рублей, если...»

Мы уходим от Амузги в Урари под палящим солнцем. Только на несколько минут на площадке зеленой, когда переваливаем гору — словно включили (тем для меня остановившимся навсегда жестом женщины у портьеры, тянувшейся к выключателю) огромный вентилятор, как в столовых Средней Азии. И подул ветерок.

А Кады-Али — все еще сидел в прохладной темноте, опустив ноги в яму, удивленно рассматривая свои умеющие руки.

Сегодня большой день, хорошо бы его удержать подольше. Но я даю уплыть всему. Все уплывает из рук. И это небо. Я под облаками. И крыша. Эта крыша. Ритм с сосудами. А на чашах оказывается не настоящая гравировка, а детские царапки. Это мастер Расул учил своих детей, и тот павлин обведен детской рукою...

Двадцать какое-то, черт его знает, где. Какое-то село. Всего три домика и гончар с палками-рогатками и прислоненным к стене гончарным кругом.

«Почему у вас воскресенье в четверг? — Потому, что в четверг — базар. — А почему базар не в воскресенье? — А это из раньше — чтоб люди могли на разные-разные базары ходить».

Ночью две луны — одна видимая, но бледная за облаками, и свет от другой — скрытой за горою — яркий, интенсивный.

Вчерашняя ферма (уже вчерашняя. Немного вчерашняя). Два гончара и женщина, шедшая рядом с лошадью, обогнавшая нас по дороге Кубачи — Солифкент. А когда мы, усталые, еле добрались туда, то застали ее там месившей ногами глину — так что для нее долгий путь все еще продолжался...

Настоящность этого мастера еще и в том, что я не слышал у него другого определения, чем — хорошо и интересно. Душа художника всегда пребывает в одобрительном восторге.

Только что он стоял около умывальника, потом ушел и показалось — умывальник принял на себя выражение ушедшего. Ты оглянулся — человек исчез, вместо него очень похоже смотрит умывальник.

Так можно дойти до того, что умывальник — умывался.

На ферме угощали сверххлебом и сверхсметаной. Приглашали остаться ночевать — отведать чабанские хинкали. Все это так, но ни йоты в этом бывшего: розовощекости «фермерш» (оставайтесь ночевать — мы бу-

дем петь и плясать), хромой ноги «фермера», поляны, дышащих рядом собак, коней нестреноженных и удивительной над всем этим застенчивой улыбкой на небритом лице гончара солифкентского. В порыве неудержимого прекраснодушия я пригласил всех к себе, если придется быть в моих краях. И того учетчика тоже.

А в темной передней жена гончара все месит и месит глину ногами — идет по дороге, где только облака, покачивающиеся цветы, кони и кувшины...

Мне не нужны чужие виденья туманов.

В гареме рассказывается об одном виденном тумане: все кругом исчезло, остались только увеличенные тени, двигавшиеся за обрывом. Тени распрягли тень лошади или, наоборот, запрягли. Сняли или взвалили поклажу.

Мне не нужны чужие виденья туманов.

Туман, туман, туман. Все забывается мгновенно. Мы проходим мимо дома старого мастера (совсем больной), живущего со злобной женою.

А какой дом!..

«Где вы живете? — На первом этаже — коровник. — На втором этаже — мечеть. — На третьем — я».

Туман — спасибо.

Твоего коня увел с вершины
Красный человекомуравей.

Мне чужие не нужны туманы.

И выделяется на белом белая фигура, а хочется сказать — пропадает. Не выделяется, пропадает белая фигура на белом (в смысле выделяется). Можно ли говорить — пропадает — так, чтоб понималось — выделяется? Кизяки — щиты на стенах дома. Угол закругленный. Угол. Туман купает согнутую спину. На желтой меди — красная. Хорошая кутка — это такой маленький

кувшин — противовес к большому, когда несут воду. Воду несут и несут непрерывно.

Всех приглашаю подряд. И эти тоже приглашают к себе в Ленинград, мать и дочь из гарема.

Туман овеивает коровьи рога. Ясный ослик в тумане. Давайте, давайте смотреть, как все исчезает в тумане. Всадник. Прежде всего исчез под ним конь, потом голова его. Долго остается лишь белая клеенка, накинутая на плечи. Туман любит белое. Тянется к белому. Белое исчезает позднее всего — растворяется, само становится туманом. Белый туман рисуется черным карандашом.

В окно вливается туман. Туман — строк колдовство. Где оно? Задумав «художник и народ» — я недостоин пребывания здесь. Я, приобретающий старые вещи, охваченный жадностью приобретения. Увезти вещь ручной работы. Увезти вещь. Вещь. Иногда находит ученая мура. Да черт с ними — с рукописями и прочим. Пусть себе истлевают на окошке мечети — сеновала.

Художник, тысячекратно более художник вот этот, рядом с медным драгоценным подносом, вешающий блестящее фабричное изделие — тарелку-пепельницу.

Ослы у источника в тумане. Философия тумана. Голуби, тающие в полете. Цветы в тумане с капельками. Есть пасмурные и солнечные туманы. В тумане на зеленое села женщина в красном с белым.

Крапива и теленок. Что крапива и теленок? Уже не помню. Туман окутал место, где была свадьба. Ослы-дельфины на земле. Туман сгущается. Осязательно слово сгущается.

Дельфинность.

Желтые цветы. Вся гора в (качающихся? нет, не качающихся) гамаках паутинках, легких, отяжеленных мириадами крупных капелек.

Спасибо, туман.

Туман — женского рода.

Если бы я был птицей, я летал бы вслепую в тумане. Туман и есть ощущение птицы с закрытыми глазами.

— Лежи, лежи, дурак, — теленку, вставшему с тропы при моем появлении.

— Туман — развешанное белье.

А гарем умывает туманом волосы.

Название села — Ицари (с рифмой исстари).

Вчерашние страхи возле кладбища мусульманского и покинутого сарая, а сегодня чуть раскачиваются цветы. А ведь каждый день — с раскачивающимися цветами — и ты со своими сегодня и вчера.

Дерево в тумане — нахохлившийся страшный птеник-гигант с другой планеты.

Сюжет. Единственно возможный: не найти сегодня то, что было вчера. Как я не нашел мечети.

Если бы я был художником, то в Кубачах я прежде всего нарисовал бы противоположную гору с группой сидящих женщин в красных платьях и белых покрывалах.

Живая вещь — вся хранит его удары. Это у медника, делающего большой кувшин для воды. Слоистый дымок папиросы в солнечном луче и удары, удары. И лицо его... Это было в этом году — смешно. Нелепо — само собой разумеющееся. Я скажу через некоторое время, что видел в этом году этого человека. Хлеб немного вчерашний.

Будет день. Другой этого дня. Я окажусь на коврах, на коврах, и за окном будут горы, а на подоконнике купленный мною светильник с пламенем живым и чадящим. И на зеленой горе напротив усядутся женщины в красном с белым. Это картина такая. Идиллия. И женский щебет в соседней комнате о браслетах (он не будет уже раздражать, как сию минуту) будет подобен отдаленному пению... Приглушенная звонкость. А потом в комнату войдет тропа, и ты пойдешь по ней петлять от Амузги к Шири. Или еще куда от ковров, от ковров.

КУБАЧИНСКИЙ ОРНАМЕНТ

Длинный клюв на солнце золотится.
Что такое? Не упасть ли ниц?
По дороге человекоптица,
В черном фраке — человекоптиц.
Как же от аула отлепиться,
Для чего мне покидать аул?
Но мелькает человекоптица,
Человекоптиц уже мелькнул.
Белый плат опущен до бровей.
Оглянись, несущая кувшины,—
Твоего коня увел с вершины
Красный человекомуравей.

И в комнату вплывут, вплывут клочки безмолвные тумана. Собственно, не тумана даже. Облако призрачное. И я слышу голос:

Вдруг облаком тебя покроет,
Как в горных высях повелось...

И я ступлю куда-то в туман, туман, в пропасть, но вместо падения — ко мне понесутся какие-то, черт его знает какие, вещи — туманы, связанные с именем Беллы.

Откуда ей знать, что «вдруг облаком тебя покроет, как в горных высях повелось?» Я вижу это облако, оно у меня перед глазами, оно покрыло меня, а как же она сказала, не видя? Непостижимо.

Мне не нужны чужие видения туманов?

И опять ковры, ковры. Топотанье детских ножек за дверью. Открытые и закрытые свадьбы.

А на улочках в тоннелях (тут их называют — метро) я буду встречать плотного, кривого человечка, бегавшего на свадьбе с метлою. А потом все бросятся куда-то и вернуться с окровавленными палками. И черт будет плясать, подымая пыль на круге. На круге. Черт в кольчуге... белых подштанниках и в маске. В маске, по кото-

рой скучает Лувр. Лувр скучал по маске черта. Мы по крышам ходим без опаски.

Убедительный кувшин. Рюмочка с перцем. А потом вокруг кувшина появятся хинкали и плов и еще что-то стремительно остывающее. А человек, ткнувший меня в бок бутылкой коньяка, сядет рядом и очень быстро опьянеет.

Неподвижно движутся колеса подносов...

Много домов, а в тумане всегда только один дом. Фонарик тем ярче, чем темнее. И шахматными фигурами играют в шашки. Ощущение птицы, летящей с закрытыми глазами.

Старинное не устаревает, оно только «выходит из моды» у его владельцев:

«Где купил такой браслет? — Здесь. — Какой плохой!»

Коровы живут в других, эпических временах. Это прозрелище коров, под вечер обтекающих гору.

Но вот что еще непонятно: каким образом отгрызаются медные вещи. История этих поломок. Как откусили, например, кусок моего (уже моего!) медного светильника?

К вечному сюжету: не найти то, что было вчера; теперь я знаю, где находится тот, хочется сказать — Великий Проход, ведущий к мечети женской — сеновалу. Там ржавая лохань — ориентир. Долго ли она там будет справа от входа? Заберут ее, и опять не найти дороги к мечети...

— Как женственно доит корову Манаба!

Выправка человека, едущего на осле.

Из Калакорейша виден Диблючила.

Мертвый город Калакорейш — прочнее всего оказались углы стен. Стены рушатся. Не было тут жизни никогда, но это только так представляется, на самом деле ты знаешь — жизнь тут была.

Вспомни. Все вспомни. Поющую юродивую старуху

и точильный круг и дымок из леса. Нет ничего печальней этого точильного круга. Ведь он только продлевает тленье окружающего. Один конец оси точильного круга лежит на рогатке, вбитой в землю, другой уходит в стену. Печаль неопишная.

За дверью дышит тяжело корова. Поющая старуха танцует.

Лестницы и цвет всего. Все уходило, а я не делал главного: не пытался выразить это словами. И любил подобием любви. Гостеприимный враждебный Дагестан.

Султан Ахмед — это муж той черной полубезумной, угостившей картошкой (и я оставил ей мой тбилисский адрес. А мать и дочь из гарема дали свой ленинградский).

Мы так и не дождалась Султан Ахмеда. Флаг истлел над гробницей шейха. Тут некогда была его цитадель.

Мертвый город Калакорейш.

Мы завтра пойдем в Калакорейш, Калакорейш, Калакорейш, Калакорейш...

Обезуметь можно. Мы не пойдем завтра. Мы были там вчера. Хлеб немножко вчерашний.

Шум аула. Великая вещь — шум аула. Видеть аул всегда перед глазами. Заинтересоваться и остаться, как та каменная птица. И видеть все изменения: как плоские кровли одеваются покатыми железными, как продают браслеты старинные — какой нехороший купил — и — постепенно вдруг все исчезнет, ничего не останется — кроме гор, кроме облаков и неба — впрочем, неба, может, и не будет. Обнаружится прокол, и весь воздух уйдет с характерным свистом. И каменная птица полетит, забывая про аул.

Манаба — жена Гайаваты.

За этой горой другая, и так без конца. Чем прозрачней гора и чем она прозрачней...

И о том, как старухи смотрят вниз на самом краю плоской кровли. Гимнастическое движение — упирают-

ся за край руками и, не сгибая ног, сгибаются в две, нет — в три, нет — в четыре погибели, и туловище их на три четверти оказывается высунутым над пропастью. Зато хорошо видно все, что внизу...

Возвращающиеся стада и фигурки девочек, и запах сеновала.

Кубачи — если смотреть с этой кровли — корабль с острым носом, плывущий корабль. Или Кубачи — птица — тогда это соответственно не нос и не борта, а клюв и крылья.

Спят дети. По очереди встают, подходят к двери, поплачут и ложатся обратно.

Я хотел бы, чтобы ты все забывала, и каждый раз, каждый день показывать, открывать тебе Кубачи.

Мальчик в подворотне подражает черту. До чего же точно! Так, что можно верить, что сегодня бывает, как сотни лет назад.

Сколько я тут хожу по утрам. А что осталось? Дни теряют дни... Каждый день с отдаленным воркованьем диких голубей и со всеми этими мизансценами и осликами в загородках и у дверей. Ослы-дельфины. Ночное дыхание коровы. И крапива. Откуда я знаю, что она крапива? Ведь я не видел ее с детства.

Во всех записках — посмертное.

Отчужденность сидящих мужчин от быта, протекающего внизу.

Сеновал — наповал.

Каменный, кизяковый Урари.

А когда все сравненья иссякли —
Лев полосатый встал и стряхнул
. с себя аул.
И посыпались кубики-сакли.

Кизяк с золотом соломинок. Грузовик — деревянная чаша. Дагестанское небо черпал.

И снова свадьба. Холодные горячие закуски. Шутки. Молодые старые. Родственник жениха о свадьбе: рас-

ход есть, прихода никакого. И все-таки свадьба течет по каким-то иным, чем кутеж, законам, иным, чем законы, возлюбленные желудком. Понимаешь — это свадьба. Это свадьба — не кутеж. Будут черти, нахальные, озорные. — Вы не бойтесь — вам будет уважение (опять-таки, а за что собственно?). Нас не выметет человек с метлой (на этой свадьбе — другой).

Так же юродиво сосредоточенные старухи танцуют. Мужчины танцуют так: одна рука приложена к сердцу, другая вытянута судорожно со сжатым кулаком. И мельканье ног. Пыль. А у меня такое впечатление, что свадьба еще не началась.

Опять на кровлях многоярусных видимо-невидимо: белого — женских покрывал и черного — мужских папах высоких. Еще одно непонятное: если приглашают всех — основной закон сельской свадьбы — откуда же покрывала и папахи на крышах? Я сижу за столом на почетном месте. А бревна-скамейки вокруг постепенно заполняются. Подойдет группа мужчин и рассаживается с подобающей веселью мрачностью.

Эти люди побывали всюду. Где только не был этот старик с выпученными глазами — этот бездельник с мозолистыми руками. Он пожал мне руку — сталь для обработки серебра.

Они рассыпались по свету. Но остаются Кубачи. Кому нужны — не нужны их руки? Умерло мастерство, а мастера остались. Еще остались мастера, но умерло искусство. Подстаканник — подштанник.

То, что ты делаешь: твое чревоугодие и чревоуещание — противно. Это замечаешь не по себе, а по другому, руководимому тем же. Понимаешь, это свадьба!!!

Появляются черти.

Собака с тоскливыми глазами и снова подстроенное нарушение и опять вокруг с окровавленными палками. Старинный, старинный танец.

Неталантливый черт. Он все время поправляет свой

широкий красноармейский пояс поверх кольчуги — отвлекая внимание на не то. Вот кажется, сейчас он поправит пояс и, — но ничего.

А жених с предыдущей свадьбы танцует с прикованной к ноге волочащейся в пыли цепью — таков обычай.

Туман начинает съедать людей на крышах, высоко над нами. А для них, наверное, съедается туманом пиршественный стол.

Тот с выпученными глазами говорит: придете с карандашом — я, если начну, могу три дня рассказывать. Дядька тертый, битый. Туман, туман. Мы островок в тумане. Вокруг белая пелена, в ней тающие небоскребы. Ухожу. Вид на свадьбу сверху — совершенная композиция круга. Туман. Шапки. «Далетай» — доброе утро. (Долетают далетай.) «Баркала» — спасибо. Подумать только: от базара до базара скоро пройдет семь дней! Семь дней плюс почти столько же, ведь когда я приехал, помнится, говорили: «На вчерашнем базаре...»

Золото мучалы вошло в туман.

А как выросла задним числом талантливость того черта первого... Дымовые плетеные трубы.

И седло в передней. Вот единственно достойный предмет для передней!

Осел — олень (лань) — дельфин.

Это сделано морем — цвет синьковатый на стенах. Мурлыканье голубей. Ослы—лани—дельфины. Голуби смотрят вниз (почти с опаской?), как те старухи.

Начинается утро все же с неотделимой причастности к этой жизни: выходит тип в бараньей шапке и начинает харкать, отхаркиваться, отплеиваться у двери, и лишь потом он отчужденно застывает на крыше, а внизу плещутся дельфины и в тумане купаются коровьи рога.

Вчера на свадьбу меня привели мальчишки, уполномоченные прикоснуться в знак приглашения к ребру коньяком. Я взял в руки дудку — потрогать. Она мокрая. Это была свадьба Мишки-гравера из Сочи. Приезжал

жениться. Рассыпаны по свету кубачинцы. Куют подстанники. Шьют подштанники. Попискивает пошлятина. Нужно быть тертым-перетертым. В толпе курортной — кубачинцы...

Удивительный этот мост. На нем могли бы стать сразу сто кубачинок.

Я на площади базарной — в день продолжения свадьбы — сегодня и в базарный день — завтра.

Может быть, перепадет еще рюмочка...

Все уходит, и неподвижная крапива в тумане. Снова мы — суверенный остров. Кто к нам приплывет из тумана в этот светлый круг? А мостик все еще пуст. Он мог бы вместить 100 девушек с кувшинами-мучалами. Туман наползает.

Все стремятся рассказать не истории, а историю. И снова старик с выпученными глазами, более бессмысленными, чем блаженными.

ИСТОРИЯ ЗОЛОТОЙ КНИГИ

Ее нашептал мне тот же Алиевич:

— Есть тут книга, написана золотыми буквами, можно думать, что там история нашего Кубачи, ведь золотом раньше писали только очень важные вещи. Находится книга у нашего директора Переплавки в частном владении. Он собирается добыть из нее золото — темный человек, — я ему объясняю, что золота будет мало, а ущерб будет большой. Он не верит, но пока держивается.

— Вы поведете меня к нему посмотреть на золотую книгу?

— Поведу. Но можете пойти и сами. Он покажет. Вот его дом виден.

— Спасибо. Обязательно наведаюсь...

Туман уже наползает с двух сторон. Удобно писать в толпе под этот говор. О чем? Все о том же, о том, что

уходит — что мне дано забыть целое и помнить в целом. О том, как туман съедает предметы. Все уходит. Уйдет Шафи, стоящий за плечами, — что я там пишу, не донос ли об алтарной штуке? И трещинки столбов деревянных базарного навеса. А туман, туман рассеется, но уже иначе. Его попросту не будет.

Туман за крапивой. Хлеб немножко вчерашний.

Объясняет Шафи:

— Сегодня третий день свадьбы. Для тех, кто устал. Они сегодня пьют.

— А как узнают уставших?

Конь почтальона привязан возле почты. Это конный почтальон. А на площадке кувыркаются ослики. Как узнают уставших? Можно придумать сложную систему. Но все просто: это близкие, сбившиеся с ног, помогавшие на открытой свадьбе, которая сегодня — закрытая.

Оказывается, тут все ослы с черным крестом на спине (грива и поперечная полоса его образуют). А я-то думал — это один и тот же осел ходит за водой с утра до вечера взад и вперед. Разных ослов я принимал за одного осла. Вот их пятеро сразу кувыркаются на площадке и у каждого крест (знак ордена Дельфина).

Закрытая свадьба будет постепенно открываться. Невесту поведут к источнику — «научат, откуда брать воду». Это смешно, конечно, невеста узнает, где тут источник, знакомый ей с детства, — но только сейчас узнав, уедет в Сочи — навсегда. Приближается свадьба снизу. Течет дудочка по улочке. Растеклась по улочкам дудочка.

А эта девочка в синем и белом, что вяжет и вяжет, — оборачивается ко мне. Я знаю ее — мы ведь вместе учились в школе! Как же так — ты старше ее лет на 30?! Да, но это было лет 30 назад. Я ее узнал (а та, которая сейчас моего возраста, живет в другом месте — я несколько раз попадал в глупейшее положение — она оказывается не она).

Это было летом у моря. Я учился в первом классе. А мама брала меня на женский пляж. Там, на пляже, я увидел мою одноклассницу. Мы шли голые навстречу друг другу. Мгновенье — прекрасное — и затем — банальный стыд. Мы сделали вид, что не узнали друг друга.

Идут облака. Пройдет и это — вид на свадьбу со стороны возле источника и ощущение, когда я был в ее центре. Питье кончилось внезапно, как и на той самой первой, куда нас привели ночью.

Пей, — сказали они. А я взмолился: — Подождите. — Пей! Больше не будет, — сказали они. И в самом деле, больше не было.

И я ушел в туман в Амузги — может быть, по лучшей дороге в мире, и тут впервые появляются ЧАБАНЫ. И мне довелось услышать, как переговариваются мертвецы на мусульманском кладбище.

ЧАБАНЫ...

Туман шел по пятам за мною и отступал впереди. Далее — сказка. Но так как теперь прошло немало времени — некоторые детали утеряны, они катятся на одной беллетристической тяге. Действующие ее величины — туман, собаки, дымные собаки, а вначале только лай их яростный на меня за стеной тумана, чабан уса-тый, молодой, над котлом у костра, и еще двое — не имеющие прямого отношения к происходящему, посторонние — их я посылаю за литром водки (с хитрой колонизаторской целью) и действующее, наверное действующее — мешок меховой, в нем происходит нечто живое — делается сыр из овечьего молока, и вот-вот он должен быть стать готовым... Остальные участники по-явятся не в этот день.

Собаки с красными языками. Бусинки дождя на мешке и бурке, а главное: вождеденное, прекрасное, при-

ковавшее меня к месту — ложка — огромная, деревянная, выдолбленная из одного куска дерева, как дикарская пирога, изящная, грубая, бесподобная, похожая на музыкальный инструмент, с головокружительным изгибом. Огромная, титаническая. Гипербола воплощенная. Возвышенная. Серьезная. Чутьочку смешная. Ею помешивают в котле и наливают собакам. Я смотрю на нее и ем чабанское хинкали, его делают так: бросают в котел мясо (великолепным движением достается нож, отрезается мясо от туши, висящей над дымом костра, и — перелет по воздуху), тесто лепится на доске и также перелетает в кипящую воду. Все это извлекается затем на деревянное корытце. Мясо отдельно, тесто отдельно — соединяются во рту — получается хинкали чабанское.

Но ложка. Ложка... Я посылаю за литром водки с дальней колонизаторской целью. Но как человек интеллигентный, не пользуюсь ее результатами — я не выпрашиваю ложку (о, как еще клянчу!) и, давась от собственного благородства, ухожу в туман.

Несоразмерность цен: литр водки равен какой-нибудь прекрасной ненужной резной пороховнице времен Шамиля — может быть, его собственной.

За местом действия пока остаются три других чабана, конь и само стадо.

— Нет, товарищи, я с вами не согласен — что-что, а уже деревянные ложки, увольте, но должны быть все же новые (это я слышу свой голос).

— Да, но новые — сухие, в них нет этой ложечности, что ли.

ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЧЕТВЕРГ

Дождь.

Костя забулдыга. Развелся с женой. Второй год скитается в горах (строит дороги). Угощает вином незна-

комых. Замечательное вино, такое же, как там в Дербенте (держитесь, грузинские магазинные вина!).

Важные дела бездельников под дождем.

Базар только-только начинается.

Угости вчерашнюю дудку — музыканта, хлюпающего через базарную площадь. Он пристраивается под навесом недалеко от меня. У меня хорошо немного шумит в голове.

Возьми, — мне говорят, — этого ослика — возьми себе бесплатно, как котенка. И тут появляется Кады-Али. Оказывается, он не совсем нас тогда понял. В общем, он может сделать нам какие угодно ножи.

— Раньше, в мирное время, — говорит он, — никакой пистолет — только кинжал, и сейчас все секретно имеют.

Черт возьми, какой баран, какие рога! Его купили, он упирался, его любовно подняли в воздух и опустили в грузовик.

Шум бала. Шум базара.

Угости музыканта.

В мирное время все секретно имеют кинжал — никакой пистолет.

Я пишу среди базара, сознавая всю безнадежность этого запечатления. Все уходит. А базар все-таки состоится, несмотря на непогоду. Вчера — так темно на дороге, что видно...

Ты еще не угостил музыканта.

Та свадьба кончилась, теперь мне показывают, будет у вон того, но уже без меня. Без меня. Небоскребы в тумане. Непонятен пишущий под дождем. И снова нет ничего за крапивой — границей базарной площади. Но вот появляется из тумана с навьюченной лошастью солифкентский гончар. Что он привез?

Какое счастье! Я на базаре! На базаре в Кубачах. В длинный дождливый день у открытой винной лавки.

Не может быть закрытой лавки винной. Но это не тот размер. Нужен пришедший в голову сразу:

Солифкентской тешась глиной
И бараном под дождем.

Значит так:

У открытой лавки винной.

Приходится пока жертвовать тем, что не может быть закрытой лавки винной.

У открытой лавки винной
Что мы ждем...

Не так:

У открытой лавки винной
Что та та та та та ждем,
Солифкентской тешась глиной
И бараном под дождем?

Несовершенно.

Две ушедшие с мучалами под арку.

Закажи музыку, закажи музыку в этот длинный, дождливый, блаженный день.

Кады-Али с мокрыми усами. Я вместе с ним пойду сегодня в Амузги, когда он кончит тут свои дела базарные и проденет указательный палец в купленный им кус мяса и понесет его таким способом, как на крюке. Я пойду с ним в Амузги. Там одна женщина, кажется, продает кое-что из медной посуды. Да и у самого Кады-Али есть один кувшин — «в мирное время антика».

Кубачинские кумушки.

И зеленая в черном платке, в черных сапогах. Смуглая. Вот она остановилась. Не ушла. Поправляет платок. Как грань мелькнувшая алмаза. Неповторимо. Гогочущий гусь и мальй ослик.

Гнать маленького ослика в туман.

Нужно уйти, как почувствуешь диссонанс — несоответствие себя со всем, а пока слит, не выделен — пиши.

Не может быть закрытой лавки винной.
Так что же ты Кады-Али?

Что останется? Останутся только бусинки дождя на шапке меховой и на гамаках-паутинках.

Баранья шапка и усы седые. Почему мне так дороги бараньи шапки?

А вчера у чабанов запах сыра и шкуры.

Прийти в Амузги в дождь — ну и везет же тебе!

Увидеть эту тропу — может быть, лучшую тропу в мире — в дождь.

Кубачи — вавилонская башня. Бегут ручьи с кизяком. Мерцают мокрые черные булыжники. Умная вещь — такие галоши. Жаль, что их нет у меня.

Вчерашний, не имеющий отношения к действию, посторонний: «Ну что купили, что продали?» Неужели он всерьез думает, что я способен купить у него козову?

Исчез красавец баран — в кузов — фьюить — и — нет его. А купленная лошадь не упирается.

Седло украшенное чернью.

И к открытой лавке винной
Мы когда-нибудь придем,
Солифкентской тешась глиной
И бараном под дождем.

Опять не то. И по мысли не то. Мысль, как всегда, лежит чуть дальше пришедшего тебе в голову. Это то, что дальше.

— Почему купил нехороший, неровный? (Это о моем глиняном горшке.) Иди объясняй. И другой: «Что же ты подобрал ученический?»

Может быть, в противовес тому медному инкрустированному утомляющего совершенства.

Кувшин утомляющего совершенства.

— Базар — нехорошо. Народа мало и грязно.

Хорошо.

...ЧАБАНЫ

В Амузги я шел с Кады-Али и на полдороге увидел там, за грядой тумана, — все действующие лица уже в сборе: три чабана, лошадь и еще одно лицо постороннее, не имеющее ко всему прямого отношения. Все приглашающе стали махать мне рукой, чтобы я к ним поднялся. Шел соблазнительный дымок от котла. И моя ложка рядом. Но я жестом показал, что занят, что присоединюсь на обратной дороге. А лицо, не имеющее ко всему непосредственного отношения, крикнуло, видимо, что-то обидное в адрес Кады-Али...

В доме женщины, у которой медные штуки, я в вохрохе разном выбрал огромный поднос — сразу увидел, что он мой.

Я умолчу о том виде, который открывается с высоты Амузги — там внизу, под балкончиком, нежатся полосатые тигры. Но вид не унести. Я уносил медный поднос-щит и медную чашу с проломанным дном — история этой поломки не выяснится никогда. Произошла она здесь или у себя на родине — в Персии...

Пастухи встретили меня со сдержанным достоинством. Они все были с одинаковыми светлыми усами (где я видел такие же светлые? В общежитии студенческом) и детскими застенчивыми ямочками на щеках. Воцарилось молчание. Они решили его нарушить, ошеломив меня чем-нибудь из ряда вон выходящим. Один из них сказал: брат — вон того — живет в Махачкале, и замолчал, наблюдая, какое впечатление произвело на меня это поразительное известие. И сказал второй: да, брат вон этого человека живет в Махачкале, и замолк. Тогда поднялся тот человек и подтвердил, краснея: — Да, действительно, мой брат живет в Махачкале — там он учится на шофера...

Я выразил удивление и дал каждому из них не совсем точный свой адрес. Во всяком случае, при некото-

рой настойчивости, меня можно было бы по нему найти. С самого начала, еще когда по дороге я шел сегодня с Кады-Али и увидел их вместе, я уже знал, что ложка станет моею.

Стояла лошадь, и в ноздри ей попадал дым от костра, на котором поджаривали шашлык специально для меня. Лошадь пофыркивала и царственно морщилась. А собаки лежали полукругом.

Да, чуть было не забыл! Когда я подходил к пастухам, за поворотом я увидел то, что не видел в прошлый раз — стадо. Бараны расположились на пригорке амфитеатром и обволакивающе смотрели на меня. Тогда я понял: если ослы — дельфины, то бараны — люди, именно люди. Овцы медленно поворачивали за мною головы, как на шарнирах, и глядели прекрасными овечьими человеческими глазами. Почему они люди? Потому что в них хрупкая нежность в комбинации, возможной лишь в человеке. Я несколько раз прошелся перед ними взад и вперед со щитом-подносом. Они внимательно следили, поворачивая умные головы. Прекрасные овечьи глаза...

И вдруг я почувствовал — все, что я до сих пор получил в Дагестане — шум аула, смешанный с мычанием теленка, ослы, медное блюдо, вид из Амузги, светильник, тот всадник, пропавший за поворотом, туман, все это распалось бы, если бы не было мною получено, так сказать, из одних рук. Из рук этих чабанов с детскими ямочками и светлыми усами. Я все получил от них. Оставалась ложка. Шашлык был чуть пересолен. Один из чабанов увел лошадь. Другие не показывали вида, что торопятся. Я встал, предчувствуя разлуку... Мне была смущенно и торжественно вручена ложка (тот, который делал ее, ополоснул ее предварительно водой из родника — неподалеку).

Кроме того, они отрезали мне большой кусок продымленного мяса (для гарема). Кажется — я летел, воз-

вращаясь. В руках я держал щит-поднос, огромную ложку — самую гигантскую из всех существующих — почти в человеческий рост, — медную чашу и мясо — я возвращался со щитом. Наверное, воин испытывал нечто подобное, приближаясь к родному Кубачи с победой.

Меня не покидало чувство счастья, одаренности. Все, все — и поднос, и чашу, и светильник — все подарили мне эти пастухи, и дорогу в Урари тоже...

Ворона над полем. Счастье. Счастье. Вот и Кубачи с голубыми внутренностями. Игра в прятки с облаками. Помни о чабанах, помни о чабанах. Когда идет дождь — думай: а что сейчас чабаны?

Нет ничего красивее — Кубачи с противоположной горы, с той, на которую садятся женщины в красном. Господи, дай мне запомнить и слышать этот шум.

Идет дождь. А что чабаны? А чабаны — ничего...

Холодный осенне-зимний день. Холодом веют белые покрывала. Сеновал! Помнишь? И девочка-ягодка в нем. А завитки мокрой бараньей шапки — откуда? Тоже из детства. Какой-то рассказ: кто-то ужасно хочет новую баранью шапку и что-то потом делалось, как с шинелью Акакия Акакиевича

Когда я возвращался со щитом — мне послышался гомон, который шел из-под могил мусульманского кладбища — так обострился слух мой — и страшно, страшно боялся кого-нибудь встретить по дороге к дому, чтобы не сглазить щит, ложку и остальное, и все-таки одна женщина, шедшая за водою, успела бросить взгляд на мой щит, взгляд, полный вопроса, что ли, а ложку, деревянную ложку я — победитель — трусливо спрятал под прозрачным плащом...

И я летал.

Утром принес Кады-Али ножи, сделанные им, и я сразу же отверг два ножа маленьких, перочинных — больно они не походили на магазинные. Слишком то-

порные на вид. Взял только кинжал и еще один — «интересный» — обоюдоострый и бритва, и нож, и еще что-то в нем... И я испугался, словно во мне был тот самый из Переплавки — Алиевич. Он мягко отделился от меня, но я не почувствовал облегчения. Только печаль и горечь... Рукоятки отвергнутых мною ножей были роговые — как я и заказывал...

И появляется эта кованая маска хана, заканчивающего празднество. Владелец ее — некий ярко выраженный идиот в казачьей фуражке. Я долго втолковывал ему, чтобы он никому эту маску, кроме музея какого-нибудь, не продавал. Демонстрируя маску, он надевал ее, держа в руке казачью фуражку, и наоборот, держал в руке маску — стоял в нахлобученной фуражке. Мычал, к чрезвычайному восторгу детворы. Наверно, маску можно было купить у него рублей за пять...

Одинокие вишни. И такая затем последовательность: труба плетеная, дымок, развалины мечети...

Не нарисованные идут, как настоящие, а эти настоящие идут, как они нарисованы у Расула: трое женщин с мучалами... Расулки. До чего же маленькая эта площадь, где была свадьба.

Голубые миры. И грустный Магомет. И грустный Магомет. И грустный Магомет. Застрявшее перекатипole.

Их часы как километры — через час — это через три. Как километр — три километра.

Я привык к тебе, Кубачи. Такого нет нигде. Сюда уже не приедешь. В Кубачи, как в реку, нельзя войти дважды. И все-таки будет неизменное: камешки под ногами тропы Кубачи — Амузги, Кубачи — Амузги... Слышишь деловитый далекий шум Кубачей, смешанный с мычаньем теленка?

А где-то там — за горою, где белое облако, — там Ицари, там я не был.

Уйдет минута, вот эта самая. Как ушли утро и день.

Уйдет этот вечер с раскрашенными облаками. Ничего плоского — кроме крыш. Холмы, холмы, — все различной плотности.

Все равно ничего не успею. Ничего. Поздно. Поздно. А я только-только начал что-то понимать. Начал с подносов. Подносы медные — азбука. Поздно. Иллюзия минуты — длительность — она облекается в формы вечности, а на самом деле в минуте нет шестидесяти секунд.

До свиданья, Кубачи. Прощай, полет.

Уже не будет дня. И ночи не будет на крыше под звездами с вздувающейся простыней. Туманы были и трава под ногами.

Само Кубачи издали — ювелирное изделие.

Вертикали, много вертикалей
среди плоскостей.

Конь из-за поворота. Неторопливость. Будет ли это состояние, когда написано: вертикали, много вертикалей. Тут оно питалось туманом. Амузги в сумерках.

Я прошел к тому месту, где встретил чабанов...

Керосиновые лампы! Зажглись!!!

А в этом кусте спит птица — слышишь? В сумерки гуси — распластанное белье. За водой идущая. В последний раз: четыре черные мучалы и одна золотая!

Утро. Луч. Резьба на камне. Вьются тропинки от Кубачей на все четыре стороны. За крапивой площади базарной.

Грустный, грустный Магомет. Мы ныряем с ним глубоко в полумрак винной лавки. Рассвет. Шесть часов. Мост. Дудка, заложенная в сапог. Ты останешься, Магомет. У тебя нет другого выхода. Мы глядим друг на друга уже через окно автобуса. Магомет обещает мне ложку для усов — этакую поперечную ложку, — при которой не пачкаются усы. Усов у меня нет, но все-таки...

У окна возникает Алиевич. Он успел побриться гладко и вырядиться в полную городскую форму пятидесятих годов: габардиновый плащ, фетровая шляпа, широкие брюки. Светлые сандалии. Какой он крупный и как это он помещался во мне?! Я высунул чабанскую ложку в окно и повертел перед его носом.

— Приедете — покрасите, — сказал он, жалко улыбаясь.

— Обязательно, в голубой цвет, — говорю я.

И вдруг вспоминаю, что так и забыл пойти поглядеть на «Золотую книгу».

Явление Кады-Али. Он едет в нашем автобусе до Уркараха — там сегодня воскресный базар в воскресенье. Мирное время. Кады-Али — Синдбад-Мореход. Автобус — корабль. Корабль в Уркарах. Почему Синдбад? Не знаю, но это так. Просто весело немного после грустного прощанья с Магомедом.

А жить мешает близость к жизни.

Розы в окне и дудка в сапоге.

А что сейчас в Красноводске?

Давайте напевать, раскачиваясь: Ур-карах, Диль-бучил, А-музги, Калакорейш... Но так не расстаются с Кубачами!

Успокаивающее: все возвращается на круги свои — мне надо вернуться в Дербент, потом в Баку, а там — в Тбилиси я еще, может быть, отыщу след и других Кубачей.

Дальше — ужас! На ложке появилась трещина и трещинки — оправдываются дурные предчувствия.

Дербент. Море горьковатое. Чуть горьковатое. Без листьев, но с водорослями дружественными, и тает лодка. Жара. Жара. Безумие. Жара. И все чепуха, как этот лимонад. И снова библейские старцы... Родиться евреем, родиться еврейкой в Дербенте, в Дербенте. И ходить на базар — ей, и в чайную — ему и в баню по воскре-

сеньям. По аллее с листьями, в рубахе, прилипшей к спине. Искусство латок, искусство латок. В баню по воскресеньям. Хорошо в дербентской бане № какой-то. А часы в Дербенте правильно показывают разное время. Оно — разных планет...

Остатки ворот говорят-молчат о том, что тут было не было, и постепенно сразу все как слизало языком шершавым. Только остатки ворот... Пройду в ворота. Жара. Безумие. И виденье: мальчишка с оцинкованным ведром воды, где в радужном сиянии — плавающий лед. Торговля. И спящая старуха продавщица семечек — что может быть бдительней продавщицы семечек! И вот спит сама бдительность...

Заметальщицы рано-рано. И солнце сквозь поднятую ими пыль.

«Это мое, это твое» — десяток одинаковых ведер у пустого крана. «Ты узнала свое ведро! — Да. — Как ты узнаешь его?»

Не золото солнце, а солнце золото на камнях и на дровах и на пепле от костра. Старухи со стройными ногами и девочки-ублюдки.

«Как ты узнаешь свое ведро?»

И чем выше, тем меньше ведер и больше кувшинов луженых. Чем выше по улочкам Дербента, тем старинней (нужен нюх, а не путеводитель). И наконец — Дербентская крепость. А сзади я «вижу блеск, забытый мной», — море, потерявшее горизонт, — ночная себе противоположность.

— Одиночка платит 10 копеек, и его ведут осматривать крепость. Группа в двадцать человек платит три рубля с чем-то и ее ведут... — Все труднее и труднее группам.

Выстрел. Сторож. Падает ястреб, «хотевший цыплят» — попискивающих. Мальчик, играющий с мертвой птицей (но недолго), и она будет валяться, пока не пройдет девушка, задрав юбку (жарко и вокруг никого), а за

нею младшая сестра, она схватила птицу, но — «Положи птицу на место!» Хорошее заглавие — «Положи птицу на место».

Сторож: «Вон там рубили головы, там сажали в яму, — кто против хана». А кто против хана?! Хорошо было жить — главное не быть против хана и ханской футбольной команды...

Море без горизонта. Отражение отражения. Что это значит? Какая-то дурная бесконечность — я не читал стихов — мне казалось, что слушающие слышат не читавшееся и т. д. и т. п. Недоразумение.

Остатки ступенек, оправленных в новую кладку.

Конечно же, черная ложка старого дерева лучше новой — ложка божественной черноты (не обугленной, а другой) была среди других ложек у Манабы.

Каменная бутафория. «Тут головы рубили всем, кто шпион, кто против хана».

Женщина из древних ворот с осликом. Старый Дербент.

К вчерашнему о крепостной стене: старый Дербент хранит некие признаки и призраки минувшего, сохраняет, как сохранялись продукты в жару в этом древнем ханском холодильнике — подвал в семь лестниц (лестниц, а не ступенек) вниз.

Акация. Сошедшие с ума тени.

А Кубачи?

Вот тут растет что-то такое, что росло и на горе Арсенальной в моем детстве. Я в крепостной зубчатой тени. И вдруг я опять оказываюсь в Хиве, и мне приходится давать объяснения узнавшему меня хранителю медресе — почему я снова тут очутился... Все ближе огненные стрелы от зубчатой стены по земле.

Кубачи в сердце моем.

Камень пламенеет. Камень горит чуть заметным пламенем (как спирт на солнце).

Это балетные лестницы.

Не желаю смотреть на тюрьму ханскую... Утром докладывают хану о несметном, невиданном войске, появившемся у стен.

Черная вчерашняя чаша моря. Упал маленький лист на страницу, и я обвел его чернилами — китайское стихотворение.

Что сказал хан, увидевший войско?

Глиняные фигурки облаков. Лошадка промчалась. Облака — мыльная пена.

Действительно, в Дербенте часы показывают время разных планет. Некоторые за сутки успевают показать только пятнадцать минут. Мы были на базаре, в бане, на пляже, а по гостиничным часам прошло две минуты. Я пришел в крепость в семь утра примерно, а мальчик сказал, что пять часов, и принес будильник как доказательство. Стрелки показывали — пять. Отец мальчика (сторож, убивший ястреба) забормотал смущенно — явно что-то скрывая о планете. Бог с ним...

Самокатка на древних обновленных стенах. Древняя конструкция самокатки.

Хан сказал, чтобы к нему пришла его Алиш. Но ее не оказалось в ее покоях. Бросились разыскивать.

Солнце за глиняными игрушечными облаками. Колдцы-тюрьмы сверху закрывались деревянными крышками.

Мы думаем дерево — деревянное (придумали эпитет — деревянный). А там буйствуют страсти. Там, где кажется все в успокоившемся равновесии, лютуют бури сопротивления материалов. Так появляются трещины на ложках — страшные, вееро-паутинообразные. Дерево, бесчувственное дерево: «Упала капля! Боже, упала капля! — А меня опустили в воду, меня опустили в во... — Меня выставили на солнце...»

Петушиный хвост, украшающий шапку главного визиря, мечется по гарему: «Алиш, где ты...»

Кто-то задул пламя камня.

Как легко можно повести название сел вокруг Кубачей в сопровождении рифм.

Хану нужны сторонники. Что без сторонников хан?

Облака плотнее иного плотного материала — тень облака не менее густая, чем тень стены.

Современные древние постройки называются реконструкциями.

— Положи птицу на место. — Девушка с сестрою появились только что, а не тогда.

Где же Алиш? Не опуститься ли ее поискать туда, где возле стен расположились ряды ремесленников-мастеров? (Все, что потом слизал шершавый язык). Легко описуемый, так называемый неопишуемый гнев хана.

Облако — верблюд.

Проблема веников там, в Кубачах (метелка к метелке — школа терпения), за ними уходят в три ночи, и тут в Дербенте — где старухи утром пылят, согнувшись, какими-то огрызками. Неужели трудно прикрепить веник к палке? И не брызгают воду. А как ты узнаешь свое ведро?

Кругом все пылает, а я сижу в тени. Нет никакого желания продолжать историю с ханом.

Крепость внутри приучает к камерному. Все под рукой. И грандиозность.

Текла ночная воскресная река по улице чужого города мимо спящей продавщицы семечек...

— Почему сразу видно то, что реконструировано, — ведь кажется — одна и та же кладка и тот же материал?

— Дело в том, что хотя отвес был знаком людям задолго до самых давнихстроек, — он не служил геометрии — не было подчинения геометрии. Линия, проведенная точно по отвесу, — струилась.

Струится зыбкая прямая...

Алиш — рыжая...

И кладбище!!! Как что? Нет сравнения — нет вещи.

Давно изобретен отвес (не — то).

..... не понимая
..... весь.

Струится зыбкая прямая...

Струится зыбкая прямая...

Два огромных самовара рядом, и две трубы от них
уходят в потолок.

Море.

Опять Баку и тот же дворик. Но на этот раз тут не
моют ковры, а вздымает снизу на крышу ведра с ас-
фальтом — жесткая старческая лысина, а по крыше ходит
другой и принимает эти ведра. А из кранов на
умывальниках все так же льется тепленькая прозрачная,
безвкусная водица.

А солнце все накаляется, накаляется. А что потом?
Вчерашний промельк вагонов и шарящий сквозняк по
спящим и скотина проводник — лучше всех справившийся
бы с ролью тормозителя в день страшного
суда.

Как они работают с непокрытой головой?

А чабаны сейчас на дороге — лучшей, приятнейшей
сердцу дороге Кубачи—Амузги. И дымные собаки рядом...
«А что это за квадратное отверстие такое на камине
вашем, закрытое стеклом? — Это — так просто.
Раньше Кубачи совсем не освещались (как и теперь), и
зимой это был свет единственный в окошке камина для
путников...» И вот виденье снежное среди жары пол-
дневной — бакинской: тихо в ночи крошечной, кружатся,
кружатся каминные окошки, поскрипывает снежок.
Они не мерцают. Нет глагола тому, как передают окошки
эти ослабления и вспышки пламени камина. Собственно,
тут и конец истории с Алиш, ханом и мною. Алиш пряталась
в Кубачах. Только все это было очень-очень раньше.
Падал снег и плясали каминные окошки.

Я не могу, не умею и не хочу ничего из того, что де-

лают вокруг. Особенно те, с ведрами асфальта, с непокрытыми головами.

Но ведь и я что-нибудь да могу — пусть даже это и не нужно, например, перечислить то, что в молочном кафе: клеенчатые передники, тип, жующий что-то, продающий папирасы у самого входа, никелированные стойки вод, тележка мороженого на резиновых колесиках. Много ножек от стульев — тонких, железных. И девушка с косой. И все это почему-то в Баку. Вот что удивительно. А через стекло мне виден непонятный переход. Все машины едут не на те цвета светофора и не по той стороне, и непонятная машина задом наперед выбрасывает желтую жидкость. И все с непокрытыми головами, все с непокрытыми головами. И в конце концов молочные продукты ударяют мне в голову... Седина с желтизной продавца папирас, переставшего жевать. И тип, роняющий булочку...

А все же комплекс дворца Ширваншахов — серое прекрасное.

Серое сквозь зеленые виноградные лозы. И тень узорчатая. И владеющее чувство реальности сиюминутного. Самое мнимое из чувств. Ведь вот эти плиты, так ясно видимые, уйдут — в воспоминании их не будет, так почему же я буду ступать? Бутафорными шагами в этот комплекс бутафорный. А что станет с Кубачами, если я вызову их из небытия? Комплекс хранит тишину, приглушает городские звуки. Он гасит звуки городские. Дворец не имеет отношения к нефти, он не плывет, как архитектурные громады прежних богатеев. Он донефтовой. Тут серое равно голубому. Серое голубое поет. Все уже солнечная река, пересекающая затененный дворик.

Кубачи.

Но как же он, мой свободный художник, продырявил античную монету?! Хорошо, допустим он не понял — минутное затмение, но она — профессор, давшая ему

продырявить монету — она-то понимала! «Вы не понимаете: она не может получить удовольствия от сознания, что у нее где-то в дальнем ящике лежит прекрасная античная монета. Ей нужно, чтобы это стало вещью. А то, что монету продырявили с одной стороны по щеке профиля, а с другой по брюху крылатого коня — не важно. Главное — можно продеть цепь и прицепить на шею! — Но как у него поднялась рука сверлить?» (Но это другая тема — тут так и не получившаяся: художник и народ. Народ в народе.)

Река переметнулась на стену и течет себе по стене...

Мох на куполе ржавый.

И все-таки ямы — камерные ямы и решетки — дьявол бы их побори с этими шахами...

«Почему так легко оставлять Баку? — Мы не пустили в нем корни. Не было тут грустного Магомета».

На полке боковой прижимаюсь щекою к щиту-подносу.

Ночная дыня. Ночная дыня. Меня будят и спрашивают нож. Стоило ради дыни вытерпеть этот бьющий в глаза свет, чтобы узреть продажу дынь ночную и все остальное. Меня угощают дыней. Дыни. Дыни. Засыпаю... Возвращают нож...

Не представляю, как тут, на Арсенальной горе — проезжаем Арсенальную гору — могло в детстве устойчиво держаться ощущение широты места?

Это год смерти поэтов. И сразу поминки. Ветви. Ива. В земле! В земле! Все едят. И мертвая рыба трепещет на скользких тарелках. Свечи и моя свеча потухшая. А те жирные чудища, оказывается, на диете.

Ночь, и снова день.

Струится зыбкая прямая.

Никаких ограждений на крыше. На гарем падает тихий браслетовый дождь...

Почему для меня каждое приобретение тут — потеря там — в неосязаемом? Кубачи в Кубачах... И Кубачи,

что в степи: тени, тени, силуэты, без мычания телят, дыхания коров, без крапивы над обрывом, без... Но очки старика — точно такие же, как у того, что делал медный кувшин. Тот же свет, как в подпольной алхимической, тот же слоистый дымок и стук, стук по меди, отдающийся в сердце.

Были еще Кубачи... в Москве. Давно, сразу после степных, по которым течет Дон. Осень или лето. Просторы Выставки Достижений. Я не помню, почему мы попали туда, может быть, в надежде на уединение. Чуждое ослепляло мишурой. Но я тогда этого еще не знал. Ведь мы росли под абажурами-балдахинами и плутали в лесах ничего не несущих колонн. Просто я испытывал непонятную тоску вблизи баб золоченых.

Чуточку была чужда и она, умная, держащая в постоянном напряжении.

Мне нужна была точка опоры, нужен был воздух, и, движимый смутно инстинктом (не потому ли я вообще привез ее тогда на выставку?), я направился к павильону Дагестана. Там, где-то там должна же быть — моя чернь — мой воздух! И все разрешится! И вот, наконец, — небросающаяся тут в глаза деталь оформления дальних планов — чернь по серебру. Вот, сказал я, видишь эти узоры...

Потом она прислала мне альбом каких-то европейских орнаментов. Кажется, в качестве образца. Ничего не увидела...

В Кубачи нельзя войти дважды.

Светятся блондинки в темной сапожной. И почему-то завтрак человека, изготавливающего народные гребешки — это в Средней Азии, — народные деревянные гребешки. Он заработал себе на завтрак и ест из кастрюльки. Он — уважаемый человек — что подчеркивается внимательной позой его гостя, присевшего рядом с открытой дверью в его крохотную мастерскую... А на моей ладони лежат ножи Кады-Али, не ответившие моим

представлениям о ножах перочинных. Не защелкиваются — видите ли!

Сколько еще раз забывать, что ювелирное не сводимо к ювелирной тщательности.

И сохранить как старый ювелир
Презрение к шлифовке ювелирной.

Автобус не загородил дверь на этот раз, а просто въехал в нее. А ножа, конечно, в горке вилок и ложек не оказалось, и мы попросили судомойку дать нам нож. Она принесла еще теплый после горячей воды. Гия предложил тост за судомоек: «Знаешь, есть огромная разница между судомойками и прачками. М. Цветаева мечтала быть судомойкой в Чистополе, а не прачкой в Елабуге». «Гия, — говорю я, — кажется, я рассказывал тебе о ложке, огромной ложке (один тут нашелся, который назвал ее черпаком, ты его не слушай, я знаю, он прав, но мне хочется называть ее ложкой). Мне ее подарили чабаны, и вскоре по ней пошли трещинки, ведь ее извлекли из привычной среды. Ею помещивали в котле, наливали собакам, она лежала в траве с росой... Так вот, эти трещинки — необъяснимо исчезли».

МЕДАЛЬОН

Это светятся сами потемки
Там на грани забвенья почти.
— Что несешь в ненесомой котомке?
— Я несу Кубачи в Кубачи.

Здравствуй, медное в черном нагаре.
Я тебя по ошибке отверг..
Кубачи на воскресном базаре,
На воскресном базаре в четверг.

КУБАЧИНСКИЙ ОРНАМЕНТ

Длинный клюв на солнце золотится.
Что такое, не упасть ли ниц?
По дороге человекоптица,
В черном фраке — человекоптиц.
Как же от аула отлепиться,
Для чего мне покидать аул?
Но мелькает человекоптица,
Чело́векоптиц уже мелькнул.
Белый плат опущен до бровей.
Оглянись, несущая кувшины,—
Твоего коня увел с вершины
Красный человекомуравей.

ПОСЛЕДНЕЕ

Поглаживать колючие плетни,
На языке прощаться онемелом.
Бесповоротно дни теряют дни,
Теряясь целиком и оставаясь в целом.
А свадебный светильник не зачах —
По краю кровель реет без опаски.
И где-то Лувр, тоскующий по маске,
В которой черт танцует в Кубачах.

ШАРК-ШАРК

(Повесть)

Высокому Спутнику — Г. В. Ц.

Уйти в твой древний зной и в нежность
Своей стареющей души.

А. Блок.

Для прозы важно содержание и место,
а не содержание — форма.

О. Мандельштам (из записных книжек).

В Среднюю Азию, в Среднюю Азию! Исключительно по грамматическим надобностям...

Начало? Тбилисская предаэродромная, предрассветная темь. Курдянка с венником и ведром, поднимающая пыль подъезда. Возня. Звяк. Шорохошелест. Магия! Не будь курдов и утра бы не наступали.

Жду Высокого Спутника — я его сопровождаю — следить, как магнитофонная лента будет ползти из одной кассеты в другую — исключительно по грамматической надобности: записать один оживший, умерший диалект. Ну вот и он — действительно Высокий. Сейчас поедем.

Машина скользит бесшумно по непросыпающемуся городу. Знакомые повороты оборачиваются, отворачи-

ваются в обратную движению сторону. Места злачные, окраинные, прилепленные к мясобойне — кишечнополостные, парнокопытные; забубенные, благословенные — кутили ночи напролет — и тут венец всему — изыск: требуха — хаши. Давно — когда-то...

Едем. Едем.

Тут автомашину обогнала старинная карета на ресорах, описанная Мандельштамом в отрывке «Путешествие Паласса» — в ней сидел сам Осип Эмильевич — призрачный, как и полагается призраку, — с лицом, увеличенным в десятки раз по сравнению с фотографией на документе заштемпелеванном: Воронежский городской тр. (трамвай или транспорт?). Я опустил боковое стекло и на лету подхватил брошенный им предмет — тупую вилку двузубую, вибрирующую.

— Не ищи в нем зимних масел рая.
Конькобежного фламандского уклона.

— Вот тебе — камертон! «Самовитое» слово. Навпредшествующее. Слово, не нуждающееся в увиденном. Ведь не в увиденном оно...

Карета повернула и покатила, должно быть, к Майдану. Забрестило благодаря курдам. Вспомнил — а у Мандельштама — не курды, а курдины (примирившие бога и дьявола).

— Который час? — спрашивает Высокий Спутник.

Часы он с собою не взял — по давнему опыту знал: у него-то уж — свистнут, хорошо бы еще не заразиться. Последний раз он был там тридцать пять лет назад. Между прочим, сегодня — день его рождения — какое это число? Приложил камертон к уху, прислушался к чистому гулу. Никакого такого числа не было. А часы в спешке я забыл дома.

И сразу — небо. На самом деле, конечно, не сразу — это камертон, чтоб с ходу — в пекло, пропускает аэродром. Тот самый, куда приезжал вовсе не проводить или встретить кого-то, а просто так; обедал на вокзале

одиноко — есть в дневниках у Александра Блока. И обязательно промелькнут чьи-то спина и голова, которые мелькнуть там не могут, и говоришь: вокзалы места встречи, с кем встретиться уже не суждено... И сразу — небо: облака — уже арбузы?! белые ядра с черными полосками, прижатые друг к другу. Мы летим в сторону, противоположную Джвари. Вернее, Джвари-Джвари, ведь то, что любишь — удваиваешь.

А пальто пустыни — в елочку.

И следы на песке (как на снегу в горах неприступных), кто же это там бегаёт?

Когда-нибудь появится на свет грамматика неведомого диалекта, а пока стюардесса, проходя с подносом, облила чаем тогу Высокого Спутника, затем, уже в Ташкенте, пропал у него бумажник, но отыскался в одном из карманов, пропал и чемодан, который, может быть, не найдется...

— Мы — в Ташкенте. Ташкент — за окном такси. Дождь. Дождь беспросветный — выйти, пойти за угол на улицу Мерквиладзе, что в Тбилиси... чем тут среднеазиатское, гм, небо? А ветер метет с думою о пустыне и говорит: — Я здесь не надолго.

Ташкент исчез вместе с дождем и железнодорожной кассой, и пошли места, где я никогда не буду, возможно, и не нужно тут бывать — ни к чему, как бы ни была царственна походка женщин, постаревших в шароварах, выходящих к поезду с подносами или ведрами — продавать помидоры.

Поскрипывают тормоза. Разъезд, рассвет, разъезд в пустыне. Два путника трясутся на ослах. Как низко мы придавлены к земле в поезде, а вчера в самолете переводил взгляд от далеких облаков под нами — вверх на стремительные, косо летящие, близкие, исчезающие возле окон. А все же и тут есть своя высота: с верхней полки — с высоты верблюда. Ей-богу, билет дает право на что-то запретное — что видеть нельзя; всякие там

закоулки, задворки вокзала, завокзалья скучнейших вокзалов, и можно касаться всяких штучек железнодорожных в вагоне и просто в нем находиться.

...В тамбур пришел человек со словом — колючка: — Вон, там ее тот вдалеке намотыжил, а дальше что? как ее в «холандку» класть, вилами что ли? тут нужны кожаные рукавицы. Была бы вода — все бы росло — нет воды — только колючка — разрешите прикурить.

Возьми цветок на память хлопка,
Возьми халат.

Что-то розовое цветет и снег хлопка в железной передвижной клетке. Поезд стелется. Стрелочник в халате (это всерьез?). Кусты колючие чем дальше, тем ближе к форме шара — так они отрываются, становятся перекаати-полем (перекаати-поле — повелительное наклонение?). Однообразие там, где не пустыня, а чуть проглянет она — его как рукой снимает — рукой многопалой, проводящей по песку строго прихотливые линии. И какое-то вдруг растение — прекраснее плакучей ивы. Оно над песком склонилось в изумленьи.

ПУСТЫНЯ

Разная, такая лишь отсюда
И другая из других купе.
С верхней полки — с высоты верблюда,
Что могу сказать я о тебе?

Сожжены на ярком солнце тени,
Отстраняю от окна лицо.
Но прекрасней ивы деревцо
Над песком склонилось в изумленьи.

Маревом исходят рубежи,
Что-то там готовится заране.
Очевидцы лгут про миражи,
Только женщина на том экране.

Пылят на ослах несколько всадников довольно тепло одетых, навстречу им несколько точно таких же, но они еще не видят друг друга. Скорость поезда позволила мне увидеть их, не подозревающих о встрече.

С верхней полки — с высоты верблюда.

Ветер развеивает полы халата у женщины, пытающейся справиться с чем-то.

Пора! Пора бы всплыть чему-нибудь из первой моей поездки в Среднюю Азию, ведь эта—вторая. И наугад наплывает оттуда: лечу над маками по кладбищу, где у входа сидит молодой юродивый под балдахинном, раскачивается, говорит что-то по-птичьи. Пылающие маки уменьшают зной. Близко-близко — увеличенно-мохнатые растенья: булавы, пестики, столбики, столбы, скиптры — а все мавзолеи за ними (так вот оно что!) — только подобия их. Мечеть—любая—нераспустившийся цветок, бутон (а что если мечеть распустится?). Изразцы облетают, отлетают, как скорлупки, и устилают землю голубиной — оговорка — голубой глазурью. Троллейбусы, причаленные к древним стенам. Караван-сарай № 1, № 2, № 3 и № 4 — с будкой кузнеца: распахнуты резные ворота, внутри тесного двора — ослы, ослы бок о бок — воплощение сумерек. Сумерки—понятие, перенасыщенное светом (по мере сгущения?). Самарканд — в последнюю секунду. Грусти о нем в разлуке. (Не грустил). А маки называются — лола (женский род?).

...Это почти криком кричалось: На завтра обещаны синие птицы! Говорили — поедете к той загородной мечети — там птицы синего цвета. Близ Бухары, о господи! И мы (тогда я был не со Спутником, а со спутницей) сели на одну из этих огромных кроваток (где пьют чай) над хаузом — водоемом, а по радио — какая-то свистулька, с бубном, старающимся бить как можно тише, и ощущение счастья и благодарности за то, что нет

у меня фантазии, дара выдумки, вымысла, что реальность — реальна. И, клянусь, — летали аисты! А паренье, видимо, дело не из легких, судя по тому, с каким судорожным усилием, напряженно, я видел, откинута, вытянута назад у них ноги.

Что сказать о моем первом сюда приезде? То была страна, где на каждом дереве клетка с куропаткой, а под деревом чайхана, и никак я не мог понять, что это все тискают в руках, — оказалось — розу или птичку живую, перепелку.

— А верблюдов у вас много?

— Верблюд, да — около 200 — больше. (Овец 500 000).

Шарк-шарк.

Это мы прибыли уже в диалектологический рай — Джейнаву он называется, а пишется без какой-то буквы или плюс еще с какой-то. Вот и Джейнаву шмыгнул мышкой в пододеяльник (хорошо что в мой, а не Высокого Спутника). Мышку, взяв пододеяльник за концы, мы с одним анемичным старцем — синий халат, опоясанный красной косынкой, — про себя называю его «комендантом гостиницы», вытряхнули в поле. Думаю, что она не замедлит вернуться. А вдали гулят, гулят, воркуют не переставая — это связные тех, кто оставляет следы в пустыне, видимые с самолета. И воркованье переходит на какой-то ноте в собачий лай. Подлетел голубь и облаял. Собаки-голуби и голуби-собаки. Не так... Привет, привет от голубей-собак — я, мысленно, через пространства той спутнице моей. Помнишь их тогда в Хиве, где пыль — что это с ней такое? — благоухала. Высокий Спутник сказал: — Это лёс, он тут от Красноводска до Китая.

Та пыль Хивы до самого Китая

..... лая.

Бороды, бороды, пришли к нам, гостям, в гости. Мы уже включили магнитофон. И приходит женщина с кольцом в носу и пальцами ног, слепленными из того первоначального материала, что пошел на изготовление чело- веков — тот же лёс, что от Хивы, вернее, Красновод- ска. Высокий Спутник сияет — тридцать пять лет про- шло — вот уже никак не мог представить, а диалект, язык этот сохранился, он жив, не потерян! На нем говорят в домах старики и дети (дети до шести-семи- летнего возраста, пока не поступят в школу). Он жив- таки язык маленького, и половины села не насчитываю- щего племени, которое — никому не известно когда, в каком веке очутилось в Средней Азии. Все прекрасно, только женскими кольцами в носу у старух недоволен Высокий Спутник — от кольца еще свисает круглая золотая пластинка к самым губам, когда говорят — она вибрирует — в магнитофоне бубнящий звук, портя- щий только им, Высоким Спутником, слышимую фонетическую музыку. А вот с камертоном — звук этот, на мой слух, совпадает.

И пыль Хивы до самого Китая
Уж не благоухает так.
И в воркованьи — призывк ляя;
Порханье голубей-собак.

А мы из какого материала? Из другой пыли?

Девочка, девочка с серыми пятками — согрей стари- ка в халате (это меня — вон того).

Как это все описать, но нужно ли? Простор огоро- женного двора в просторе пустынном, что-то зеленое жалко колышется, колеблется за проемом... Разрежь цветные одеяла на лоскутья и прицепи на палки, вот- кнув их в растрескавшуюся глиноземлебитную сте- ну. И-у-о представь огромное колесо. Простор — лепешка плоская. Пыль. О пыли! Неба плоский купол — без столбов. И звуки полупенья, полуречи. И где-то тут

поблизости закопано «самовитое» слово, не нуждающееся в увиденном... Чур, чур, чушь.

Кошечка белая на серой стене из голубого помета что ли? А ночью все уходит под землю. Начинается жизнь кротов. Остается плоская земля пустая — лепешка, по которой резвятся те, что оставляют следы огромные ступней.

Подкатил с пастбищ наш главный хозяин — руки тонкие, смуглые, с ногтями один к одному, как костяшки рояльных клавиш, — худой, непроницаемый — местный владыка — этакий Чингис-хан.

Кстати: стерлась граница между так называемыми «цивилизованными» и «детьми природы», и те и другие, мы и они и этот чабан — все — о Мехико — устраивает ли наших ничья.

Утро. Белое синего. Синее белого. Пывылезли из земли-лепешки. И сразу — Зной. Новое действующее лицо. Лишь ветр-дуновенье занят легкой уборкой. И муравьи ползут с добычей — что-то вроде крылышка стрекозиного — это их баранье бедрышко. И пришел человек, являвшийся вчера вместе с Чингис-ханом — научный работник, печальник прикомандированный — пришел с известием: оказывается, все бараны тут кибернетические — плод, плоть от плоти ДНК или чего-то в этом роде. Искусственное опыление, осеменение их и так далее — долго, нудно и интересно плакался по этому поводу.

Пыльное небо.

Пришли старики «диалектологические» — бодрствующие, дремлющие, с бородами, в нарядных халатах, в чалмах с синевой, в галошках. И рассказывают в магнитофон что-то в этом роде: есть пояс небесный и пояс земной; на земном поясе жил купец с тремя сыновьями — один сын попросил имущество и другой тоже, а младший — друзей. Отец разделил стадо между первым и вторым, а младшему передал (познакомил)

своих друзей. Каждый друг отца стал ему другом и помогал ему. Старшие стада потеряли, а младший жил припеваючи, не имей сто рублей, значит.

Ну и всякие там волшебные предметы, выполняющие что хочешь, но с одним невыполнимым условием: о тех предметах — никому ни звука. Уговор нарушается — выпытывает у бедняги женщина любопытная, в чем там дело, ну и пропадает, скажем, волшебный перстень. Иногда все оканчивается благополучно. Кошка послала мышку всунуть хвостик в нос паше, паша чихнул, изо рта его выпал перстень — мышка приносит его кошке, кошка отдает хозяину. Все это присказки да сказки, но в них мелькают, словно потусторонне знакомые тени и пояс небесный.

Птица сидела на дереве, закрыв глаза, говорила зикр Аллаху — и не видела потому, как влезли и поймали ее, развязав пояс, сняв платье и чалму. У берега реки находился некто, начертающий предопределения, сидел, продолжая писать в отношении одного человека. Симург сказала: «Я употребила хитрость в отношении предопределения»...

Совершенно разные одинаковые глаза у стариков с разной степенью искорки лукавства, доброжелательства, серьезинки, тусклости, внимания, дрёмы. Помимо других есть еще чин — человеческое достоинство. Оно как-то проявляется в осанке, в вежестве... Ну тут их всех мановением руки погнал, конечно, некстати явившийся Чингис-хан и уселся против моего Высокого Спутника — с самыми благими намерениями — считал, что его общество будет интересней, и что-то начал из своего рапорта-отчета. Диалекта он не знал, но ничего не подделашь — хозяин, а мы гости.

Ветер засвистал во что?

Что изменилось с тех пор, с первого раза? Нет у меня уже жадного восторга. А дальше что? Плов? — Что будете кушать? — Все равно. Лучше бы национальное

что-нибудь. — Хорошо, жаркое сделаем. Было: не может быть! Ныне: — есть.

Что Красноводск? Где ясная повадка? Где Тамань? Пиши стихи, дурак, или пошли телеграмму — дома беспокоятся — это я себе.

Пожалуй, тут на плоскости лучше всего была бы шарообразная форма. Что-то от шаром покати.

Огоньки Красноводска — два мигающих красных огонька — ворота в Среднюю Азию (Она не очень ли средняя, — дразнил Гия, — со смешанными с завистью чувствами — оставшийся друг мой в Тбилиси). Приближается Красноводск красными фонариками бакенов. И темная гора — холм — выгнутой хищно спиной. Было поздно, и мы застали кусочек весьма ночной жизни Красноводска: уборщиц, работниц камеры хранения, милицию. Я все оставлял свою юную спутницу на чемоданах и мчался на какие-то неясные силуэты. Наткнулся на комнаты для приезжих актеров, а потом вышел на пути, где в конусе падающего света стоял одинокий тепловоз с накладными буквами САЖД (Среднеазиатская — догадался — железная дорога!!!). Масса восклицательных знаков.

И днем Красноводск — железобетонный, не тающий в зное, с портом — тишиной и базаром. Женские бедра в Красноводске. И чайханщик с лицом старого контрабандиста, который все смотрел в окно, раздражаясь, что какой-то там милицейский в штатском коршуном кружит по базару на мотоцикле с коляской, кого-то выискивая. И одна женщина сказала, что пусть посадят ее, раз ему некого посадить. И вначале я повздорил с чайханщиком — он все смотрел в окно, не собираясь нас обслуживать, — я вспылил, а он напал на меня, почему я торчу тут с пятаком перед его носом, если хочу чай, то пусть я сажусь за столик и жду, пока он мне его поднесет, а я сказал, что не обязан знать, какие в этом заве-

дении правила. Потом мы помирились — он заварил хороший зеленый чай, и мы говорили о жаре — выяснилось, что она всего два дня, и какая-то кошка выглядывала из-под поставленных друг на друга стульев, и он подошел к ней и все расспрашивал ее — где кто-то, чьего имени я не разобрал. Я спросил, почему в Красноводске нет рыбы — и он мне подмигнул: потому что отсюда далеко море. То самое Каспийское, которое мне неожиданно-негаданно преподнесла судьба.

Зной. Зной.

И мы пошли и еле отыскивали с помощью увеличительного стекла то, что в Красноводске именуется приморским бульваром. Спутнице захотелось пройти по длинной эстакаде, уходящей далеко в море, но туда нас не пропустили: там оказалась детская станция — какой-то жующий тип сказал, что нельзя, начальник будет ругаться. Я спросил, а где начальник — он сказал, что ушел только что. И мы расположились в другом месте, хотя и не вдающемся в море, но тоже оказалось отличным. И я впервые увидел настоящие живые водоросли, похожие на длинные зеленого цвета волосы, наверное, такие были у русалок, и это какой-то колдовской, безумный цвет. Целая грива таких волос дыбилась возле лодки... А базар тут ерундовый — все привозное, даже вода, и семечки, в два раза дороже, чем всюду. Но чайханщик в чайхане, разговорившись со мной, сказал, что в любом пункте Средней Азии лучше, чем в любом месте в России... Дополнительное блаженство создавали некоторая шаткость положения на перевернутой лодке и вид кораблей — как бы шаров воздушных с отдаленной возможностью полета на них. Было приятно видеть, как осуществляются на твоих глазах все эти выражения — например: «ушел в море» — и в самом деле за какой-то постройкой двинулись мачты и ушел тот, кому они принадлежали, — черный с красным, описав дугу и дав прощальный гудок.

И какие-то две красноводские львицы — одна льяные волосы, другая — челка — стояли непринужденно, опираясь на парапет. Но я знаю, тайно знаю уже, что тут не Красноводск. Это ощущение подспудно возникло, быть может, еще там в чайхане при виде шаркающего туфлей с наполовину натянутым носком буфетчика-чайханщика. И потом у лодок, откуда ушли трое, когда мы подошли, а через некоторое время один из них вернулся и достал что-то из-под лодки, воровато оглядываясь. Позже мы пробирались по каким-то доскам и вдруг озарило: Тамань! А может быть, сначала глагол — «вспугнули», относившийся к тем у лодок, а затем уже — «Тамань!» Тут и сакли с ундинами на крышах, с декорациями скал позади.

...Мы вошли тенью в чужую жизнь и что-то там вспугнули... Тамань, Тамань — а ведь это единственно вечный из всех сюжетов.

...И постоянное ощущение греха вмешательства в жизнь. Сама праведность, как действие — грех. Грех правоты, святого дела...

После ухода Чингис-хана бороды вернулись. Бороды, бороды и галошки новые с бородой. Некий сдвиг — и ты в царстве джинов с такими же бородами, нехитрыми шутками и розовыми скулами. — Хочешь, будет ветер? Пыль закручу столбом — сам посмеивается, поглаживает бороду: — Сделим? — Не хочу, спасибо.

Как высоко уже солнце.

Нового барана резали для нас.

Я — сыт — вот что плохо. Желудок — полная луна и далеко до юного голода новолуния тех лет...

Убогий прекрасный сад внутри собственного дома-двора показывала с гордостью хозяйка — казанская татарка — тут это высший сорт женщины — как у ара-

бов — англичанки, — объяснил мне Высокий Спутник.

Но в замкнутости, огороженности домов-дворов — простор. Простор в просторе пустынном. Из любого окна — стена. И все — просторно. О-о-о, а эти переходы под сводами-арками от одного строения к другому, пусть самого прозаического назначения.

— Тут, — объясняет хозяйка, — живут родители мужа — никак не хотят в наши комнаты (где пианино, телевизор, приемник, магнитофон, диван — весь ассортимент универсального магазина)... У стены сидит этакий комочек с кольцом в носу, спрятав в юбку босы ноги, режет ломтиками дыню. Мы заглянули в ее апартаменты, и я на миг один влез в эту яму с угольками — спальню — и провел там всю зиму, накрылся бараньей шкурой, дышал угарными газами — хоть бы что — сухонький старик со старухой, а потом сам как раскаленный уголек выскочил на пронизывающий ветер — подхватило, унесло — куда? — в рот какому-нибудь пророку, взамен его грешного языка.

Я видел пыль из-под копыт осла с двумя всадниками.

Голубой халат.

Косички.

И как пугаются косички незнакомцев-чужестранцев. Шли мы с Высоким Спутником — они метнулись в темноте: явно — черт — шайтан.

О верблюд, верблюд, мой первый тут верблюд — лошадь с головой на шарнире будто кран подъемный. И что-то там жуя, он что-то ищет в небе, задирая голову, а потом медленно и осторожно опускает ее как руку.

Пуговица моя от брюк отвалилась и тут же уползла черным жучком.

...Неизвестно — когда оно тут появилось, это племя. Белое пятно в памяти истории, как при склерозе. Но во-

круг так от всего ко всему перекинута мостки от того к этому, от автоинспектора толстого ангела-хранителя к сборщику податей, от сегодня к вчера, что и постороннее, чужое, что моим быть не могло, все же вызывает как бы к личному припоминанью. Прочтешь на музейной табличке — и словно не узнал вот только, а знал всегда, что Самарканд назывался Афрасиабом, и столетия перетасовываются легко, как та моя первая и эта поездка. Усилием припоминанья: отдыхающий караван у разрушенных стен, готовый по первому зову встать, отряхнуться, забренчать всеми бубенцами. За проемом в стене встает чернокудрое, ликоподобное солнце. Огромный купол можно было бы принять за само небо, если бы не проломы, в которых носятся бешеные птицы. Голубой купол не может быть пасмурным в отличие от неба. В проломах купола неживые растеньица, сожженные солнцем. Кладке нечего им дать — не от скупости — просто нечего — все усилия отданы на то, чтобы удержать квадратики глазури. И даже птицы пренебрегают этими растениями, а может быть, и клюнут иной раз. Кружатся, кружатся и вдруг замирают наподобие изваяний — маковок поливных. Замечаю: слепым кажется человек, когда, закатив глаза, глядит на купол, чуть приоткрывая рот. У зрячих лиц — слепое выражение. А настоящий слепой — певец — нараспев, чуточку гнусавя и раскачиваясь: — «Самарканд, развалина. Как разрушились его орнаменты! Ты не лучше, чем Шаш. Ты не избавишься от этого вечно».

Любимая жена-спутница подошла ко мне: — «Как долго мы идем?» — спросила, от дыхания ее чуть заколебалась пластинка золотая, продетая в золотое колечко, и сердце мое раскрылось ей навстречу. Я ей: — «Это великое переселенье было начато задолго до нашего рождения, но есть знамения, что поход окончится при нас. Так говорит Предводитель». Вот он сидит в стороне на почетном месте — Высокий Спутник, беседующий

на незнакомом языке, — сколько языков он знает! — с незнакомцем — человеком с узким разрезом глаз, ногтями ровными, один к одному, и тонкими губами в бараньем жире.

— Давай оставим какую-нибудь зарубку, — говорит моя спутница, — такую, чтобы узнать в другой жизни, что мы тут были.

В проломах летают бешеные птицы, и мальчишки под шаткими — вот-вот обрушатся — сводами затеяли футбол. Футбол — произнес я странное слово и не удивился ему и еще подумал: устраивает ли наших ничья в Мехико? Оглянулся — стоит группа — сморгит на купол: у зрячих лиц слепое выражение — экскурсанты — не удивился я и этому слову. Вышел из ворот со спутницей, где у древних стен причалены троллейбусы, сейчас диким показалось бы в носу у нее колечко, если бы оно было. Нам — в колхозную гостиницу «Шарк», по которой бродит с кислым выражением наш недавний болтливый попутчик неотвязный — куда мы — там и он оказывается. Сиял, говорил — все равно где поселиться — всюду, всюду нужен киномеханик — его с руками и ногами — ни о чем, нигде ему не надо заботиться. Чего же он ходит кислый по коридору, или не так уже — упаси бог — нужны киномеханики?!

Орнаменты, орнаменты, орнаменты. И на пути орнаментов — оконца. И перспективу можно вывернуть наизнанку, как рубаху, а купол весь отдан голубому — прочь от ядовито-зеленого.

Три девушки — цветных платка — стучат по плитам вслед за тремя черными тюбетейками.

Неправда, и купол темнеет, когда пасмурно — он с небом заодно.

Здравствуй, говоришь всему, с чем расстался вчера. Здравствуй, подставка корана — четыре кита. Здравствуй, пень обгорелый, здравствуйте, мертвые колосья, шевелящиеся и черные тени белых решеток.

САМАРКАНД

Кроссворды изразцов до одуренья.
И кирпичом любуюсь поливным,
У зрячих лиц слепое выражение.
Четырнадцатый век. Биби-ханым.

А мне читать названия не надо,
Как будто память и без них смогла б —
Припомнить вдруг названье Самарканда —
Еще одно — древней: — Афрасиаб.

Базар, пока я спал, закончился, он тут в субботу, рано утром до начала рабочего дня.

Вдруг крики стройные, вроде пения. Свадьба?.. Нет, это кто-то умер там в тех домах-оградах. Эх, ты! Как же ты сразу не отличил, что это крики горя, а не радости...

И мальчик в красной рубашке, стоящий на осле. Осел на пригорке малом, он на осле, но все равно видно все то же: земля-лепешка. Стоял устойчиво, как на полу. Потом сел на осла задом наперед — так некоторые подростки мастерски управляют велосипедом.

Колышется халат, свободно спадающий с плеч «жирного бая» — тут вот как-то слово жир, жирный — реально больше, чем где бы то ни было. Неожиданный юмор: — как зовут? — Вчера — так-то и сегодня.

А умер, оказывается, монтер—светоначальник, 32—34 года, 8 детей.

Опять кого-то обляял голубь.

Я так и не видел, как похоронили светоначальника— пусть останется тайной, как и быть должно. Похоронили через два-три часа после смерти.

И даже горизонт закрыт стеною — тут нужно закрываться от горизонта: ну ее лепешку!

А ветер — все такой же бестолковый подметаль-

щик. И бездыханная степь-пустыня — все время пересекается кем-нибудь на осле.

Колючки — рыжие собаки.

А по ночам кто это тут резвится? Это, конечно, дивы: красный, черный и белый, живущие каждый в холме, как в палатках (холмы в крайнем случае даже переносят с места на место). Нет, не резвятся, а бегают — не от хорошей жизни, конечно, — у каждого моста замирают, прежде чем перейти, — уж не сидит ли под ним декханин Бай-огли-Саманчи — до чего страшно! И живут они в холмах, как в палатках со своими пери, одна из пери каким-то образом оказывается в пруду сада заветного у шаха, ключи от которого он не дает младшему сыну, омрачая его сердце...

...Небо бирюзовое на западе и черно-темно-синее на востоке. Как здорово, что Шарк — не что иное как восток — и ничего более!

— Почему в этом городе две луны? — спросил юноша.

— Одна из них не луна, а сестра дива, ее лицо, как луна на небе.

Луна ярче керосиновой лампы (электричества нет — светоначальник-то умер).

Высокий Спутник — единственный человек, знающий этот язык. По ночам он мне объясняет, что в общем-то язык этого племени важен не столько сам по себе — тут он долго говорил о каких-то фонемах — метал бисер, а некими фонетическими особенностями, опровергающими уже математически выведенные общие структурные закономерности, формулы для больших языковых групп — так что придется выводить новые — задача отдаленного будущего, сейчас непосильная, и я представил, как потеют какие-то личности из этого будущего у счетных машин, создающих языки не языки — сигналы, монады информации. Таким образом, древний народ, прибывший сюда — когда неизвестно,

имел фонетическую миссию: сохранить в этих песках основы, которые сейчас опровергают общепринятые закономерности, а потом за гранью наших дней помогут-таки вывести, а что, сам не знаю — в космическо-вселенском масштабе.

А что сейчас, скажем, в Хиве? Сидит себе старик узбек — «хранитель медресе» в холодке, в своем белом ките, пьет чай со «стражей» — бессменным караулом, который не спит ни днем, ни ночью: ночью — не полагается, но он и днем не спит — чай пьет с хранителем. Все тихо, спокойно. То что «все — спокойно» — хранитель выразил довольно оригинально, он сказал: «Никого не можем поймать» (Должно быть — калька). А невдалеке шумит не шумно базар не в базарный день, снуют велосипеды и тачки с огромными колесами, стоят и умные ослы, умнейшие ослы вдыхают пыль и думают о лете предстоящем, когда асфальт базара становится подобен воску, и копыта в нем оставляют глубокие следы, как и костыль того чистильщика-сапожника, который показал нам, как глубоко входят четыре ножки стула. Скучает буфетчик гостиницы под выставленными бутылками вина «Узбекистан». И тенью бродит по переулкам тот человек, предложивший купить всякий «женьчки шара бара и ханьски деньги». А что еще сказал хранитель?

— Вон баня старая — некультурно было — все без тазиков, а сейчас тазики-мазики.

И еще там мастер посылочный (делает посылочные ящики), чей папа, он рассказал — человек великий, в этих краях — миссионер и изобретатель, почти Эдисон, нет, не калейдоскоп он изобрел, а научил узбеков пить газ-воду (что? что?) — кто не выпьет в жару стакан воды газированной! — он первая, так сказать, колонка, а раньше до него, что было? — нахлебаются узбеки воды арычной и умирают, а теперь? — Катят те-

лежки, стоят тележки с газводою, без портрета папы, но где, когда были оценены люди по заслугам.

Все время торчу в одном и том же месте за оградой, где нас поселили, и нельзя даже сказать! К черту, завтра пойду в глубь кишлака! — а что ты там увидишь, кроме стен? В том-то и штука, тут ничего нельзя увидеть, как ни перемещайся. Пока не пригласят. Дома, как и всюду тут, на улицу выходят глухой стеною, окна в них только во двор. Шарк-шарк.

Какая пустота во мне! Нет деревьев, нет деревьев.

А потом было до сердцебиенья: и мечеть развалившаяся, и водопой, и ослы с монгольским разрезом глаз, и блеск воды мгновенным водопадом из ведра, и дети, и другая мечеть, и развевающийся халат пригласившего нас хозяина, стоявшего у входа, — воплощение чувства собственного достоинства — смиренно ждал нас неподалеку от своего дома. И все, все — зрительно, зрительное, вспыхнули краски, заговорили, залопотали ковры — ничего в слово.

И так проходят два часа. Магнитофонная лента ползет из кассеты в кассету. Вокруг земляные стены и внутри — в легких.

Его залатанная подошва мягких сапог как-то связана с жестом, каким он отбрасывает пустую пиалу на ковер домашнего производства. Старуха не только никогда не была в городе в трех часах езды, но даже рядом в Бешкенте — можно верить изготовленным ею коврам.

Лица делятся на пыльные матовые и на пыльные лоснящиеся — к лёсу примешан жир.

Сытость подступает, ударяет в голову. Хозяин вышел, снова пришел с цветным узелком — бац! узелок раскрылся — там хлеб, сахар, конфеты, горка пиал.

Подозрение: они, кажется, считают, что золотые коронки вставляют на здоровые зубы. Что и подтвердилось. Тут есть такой — я его называю «холостяком» —

он мне сказал: — В Баку — Баку это, видимо, эталон— все так делают, то есть коронки золотые на здоровые зубы, и ходят там такие же, как он, непричесанные, лохматые — мода — у него был знакомый шофер, так тот рассказывал... Мы прогуливаемся с ним по улочке, вдруг прошла молодая-молодая, прекрасная, в красном с белым, и как-то не мешало, подходило кольцо в носу. «Холостяк» вытянулся, подтянулся, вспомнил, что — жених, смотрел вслед:

— Видел? На эта женщину золотой есть в нос 500 рублей стоит. У моей мамы тоже такой, — добавил со вздохом.

Ночью электричество мигает. Помощник светона- чальника — совсем мальчик — «еще неопытный» — сказал Чингис-хан.

Мигай, мигай, мигай, Джейнаву
Как крылья бабочки маши.

Пять дней всего прошло, а я уже начинаю, кажется, понимать: черт побери, если кольца в носу тут не к кли- мату, как зеленый чай.

...На стене мечети лицо Гуландамы, нарисованное ею самой.

— Я здесь пребываю в любви к тебе, полюбив твое изображение.

В саду лежал некто, облаченный в звериную шкуру. Визирь заплакал: — Ты пашой был, а теперь сидишь, как безумный.

...Ну вот и прощай, Джейнаву. Последний раз. Гру- стный, вечно грустный, я его называю «комендант го- стиницы». Он знает: уезжают приезжают — он остае- ся... За окном — стена земляная, цветная скатерка на столе. Пустая пиала коротким бликом подсветила, осве- тила его лицо.

Последнее утро в Джейнаву, богатое небом — у Бобо-баба с маленьким Бобо. Ковры всякие. Все не-

торопливо — но в крови уже движение — сейчас уедем.
Юрк — и нет Джейнаву — юрк, юрк. Шарк. Мышкой в пододеяльник.

А в Камаши — ни души. Уже Камаши — не камыши.

Едем: пустыня — пустыней, хоть шаром покати, плоскость — плоскостью, а как в море — волны: ныряет автомашина. Наискосок вынырнула другая машина — в ней шар сидит. — Начальник спокойствия, — уважительным шепотом сказал Чингис-хан, провожающий нас по долгу гостеприимства. Шар с сединой благородной. От безделья поседел. Ведь — все спокойно, то есть как это: «Ничего поймать не можем». Покатил по дуге, на нас даже не взглянул, а видел все-таки.

.

Один из городов. На столбе объявление. Срочно продается вентилятор-подхалим! Устраиваемся в гостинице, сюда, мы договорились, будут приезжать записываться. За окнами никакой не Восток! железобетонное, скобяное, асфальтовое, универмаговое, но нюхом чую в городе том есть старый город — иду и вот уже забилось сердце: близко, близко — базар-бубен. И опять эти поразительные когда-то виденные в Хиве резные двери и воркованье и хлопанье крыльев. Хлопанье крыльев — или трусят ковер? И двери с шишками, как на щитах. Шарк. Шарк-шарк. Дома глинобитные — как бы покинутые — так вот в чем суть и прелесть их. Они как бы покинуты. Здравствуй, Средняя... Страна, где все притворилось незнакомым, надело цветные шаровары с узорчатой тесьмой. Иду по живым бугоркам, еще не залитым асфальтом.

На базаре-бубне продавались открыто ножи прекрасные, страшные; я опускался на корточки, вытаскивал их из ножен цветной тисненой кожи с кисточками и бахромой. Каждый наточен, как бритва, — только приложи, а дальше он сам... Тут же оседлые и бродячие то-

чильщики — на случай, если у кого затупится. В отдалении — здание огромное, старинное, земляное — тюрьмы действующей. Не следует забывать, что это все места «столичные», центральные — ссылок, перессылок, уголовники тут оседают. — Так что не особенно разгуливайте, — сказал мне Высокий Спутник. А я и не разгуливаю особенно; странно, вместо того чтобы рыскасть волком — я ловлю себя на том, что меня тянет к магнитофону, я спешу вернуться — смотреть бессмысленно, как медленно ползет лента из кассеты в кассету.

Ухожу и откуда! — покидаю восточный базар... А дыня что. Лица, так сказать фонема (мне объяснял, что такое фонема, Высокий Спутник). Мальчик—старческий лоб в морщинках прошел с дыней, как с собственным лицом. Хлеб по-узбекски—нон. Его несут под мышкой, как книгу.

Электрик был недолго болен
И умер в час, в три похоронен.
Помощник до смешного мал —
По имени — Кемал, Камал?

Светоначалником по праву
Он стал и плачет от души.
Свети, мигай, мигай Джейнаву;
Как крылья бабочки маши.

...Покидаю восточный базар. Было тут для меня одно местечко над водой канала — веранда, осыпанная листьями, но оказалось закрытым. Чайхана, чайхане, чайханю... Что такое чайхана? Деревья-тихони, как ковры, тушат топот ветра. Буфет: стадо заварных фаянсовых чайников на клеенке мокрой, под которой уйма мокрой же мелочи-выручки. Все нехитро — во всем отсутствие тайны. И рукомойник, прибитый к дереву у входа, — просто для тех, кто хочет ополоснуть руки, — нет у него другого назначения... А вот тогда на том сармаркандском базаре была особая чайхана. Все те, кого

я видел в далеком детстве — всякие там пятновыводители (Вывожу пятна!) — не исчезли, нет — все они оказались в той чайхане — не умерли они или там это их «на том свете».

Сколько их было тогда, блаженных чаепитий в тени веранд и деревьев! Вот встанем сейчас со спутницей, уйдем, и на столе ненадолго останутся два чайника, красный с белыми кружками и белый с синими. Их заберет мальчишка, помогающий буфетчику, и унесет за кулисы чайханы, где в полутьме творится никакое не таинство: щепоткой берут из миски зеленый чай (чаще порошок) и сыпят в чайник, подставляя его под струйку кипятка из бака. Но позвольте, куда мне деть это огромное количество металлических тарелок, целая гора получится до потолка — в какую кладовую прикажете их сложить — кому, когда они пригодятся, в какой такой повести?

И совсем иначе тут опьяняются — достаточно хорошо поесть, выпить зеленого чаю — вот и все компоненты. Аллах мог и не запрещать алкогольные напитки — только подумал — как протянулась рука — из отверстия в стене что ли, и налила водку в пиалу оказавшемуся тут киномеханику. Он морщился, морщился, пил содрогаясь, сразу его затошнило, и любопытствующие детишки окружили его.

...Киномеханик пролетел на воздушном шаре — он сидел в корзине, бросавшей убегающую тень, — я бежал за ним, это не мешало беседе. Сверху вниз он сообщил, что окончил техникум киномехаников, показал свою божественную эмблему: в руках у него оказался стрекочущий голубоватый луч, он поманипулировал им, как жонглер тростью, и улетел.

Бездарно променял песчаную бурю на шахматы. Мат — по-арабски — мертвый — объяснил Высокий

Спутник. Мат. Король мертв. А зачем тебе песчаная буря? Какой-то маленький китайский переписчик сидит во мне и выводит буквы. Как в шахматах сразу чувствуешь игрока сильнее тебя, так и в поэзии поэта. Какой я поэт! Никто не по плечу, никто не пара... Мат. Потому и тянусь к магнитофону от базара. Пропал день бесследно: поддался ложному представлению, будто наизусть знаю все, что может быть на базаре, на том клочке...

Включаю магнитофон. Голос Амин-боя — холостяка. Звяканье серьги-кольца в носу его бабушки, бубнящий звук — и — внезапно: кшш, кшш, кшш — это она цыпляет, переступившим порог комнаты. Уже в прошлом.

Стук в дверь номера гостиницы — вот те на! — прибыл холостяк; расположился, выпил мой кефир на подоконнике и ушел по делам в моих туфлях, без спросу.

Произнесут название этого города, и я смогу представить дорогу от гостиницы к базару и к вокзалу, захламленность фанерной автостанции и даже почувствовать трепет святой при слове облисполком — с сидящим там в вестибюле милиционером пенсионного возраста... А вот ведь при звуке: Хива — ведь не вздрогну и ничего не представлю — а мог бы... Там под веками, зажмурясь: красный горизонт и три фигурки у стены закутанные и острый запах земли, как бы другой планеты. И многоствольные тополя, и пестрый халат мелькает за ними. Девяносто две мечети. И мальчик поиграл нам на каком-то народном инструменте, еще, наверное, чуточку неумело. Я все ждал, когда он тронет басовую струну — мелодия лилась тихонько, перебирались все струны, за исключением басовой, и вдруг, когда все достигало предельного предела — он дотрагивался до нее.

До чего же голо в этих домах, где на полу расстелены дырявые цветные одеяла! Но как можно жить,

как мы живем! без такого вот внутреннего дворика! Привязанность к собственному дереву внутри дома, включающего дворик. И загробный мир дерева — тут же, его потусторонняя страна, где оно столб тщательно орнаментированный, изукрашенный, поддерживающий что-то, напоминающее сцену, — открытый высокий балкон — айван.

И памятники архитектуры, и памятники архитектуры, и только один, удержавшийся в слове — минаретик с искоркой на куполе. Закон запустения — закон жизни древностей — они живы, пока тихонько разрушаются... Вторая их жизнь — реконструкция — омузеиванье — смерть. Страшна доступность памятников, не охраняемых — их доверчивость, чувствуешь себя потенциально преступником, словно тебя оставили в комнате с невероятными ценностями незнакомого хозяева, а сами ушли.

Соперничают маки с изразцами и на земле красный лепесток розы. И в белом неизвестна мера и неизвестна мера в голубом.

Все это было царством потерь — любые находки. Они о том, что рядом в Хиве потеряно другое — находя на этой улочке, я и моя спутница теряли на ста других, а по всем не пройти сразу.

По крыше крадучись, как кот. Нельзя по крыше не крадучись. Она поросла густой травой, купол — словно положенный каменный шлем, минаретик, тропинка среди травы и еще купол, и над ним еще и еще, и справа и слева, и вокруг, и нет ни входа ни выхода, и кричат птицы, а неба — нет. Прощай, прощай, крыша с куполами. Ушло ощущение крыши.

...И довелось быть в чайхане на базаре Хивы, рядом с рыбожаркой, где старик узбек в белом грязном халате бросает рыбу в кипящее масло и через полминуты ее вылавливает, шаря в котле, как в озере — огромной, просверленной ложкой — лопатой — дуршлагом эмалированным на длиннющей ручке. И пыль несется

по базару, видны десятки башен минаретов, и дымится чай зеленый.

И не встретил того узбека-старика, с которым я был знаком когда-то, совсем в другом месте, там он работал дневальным: борода, прищуренные глаза, весь в черном — казенном — где-то ухитрившимся все же незаконно пропустить, приоткрыть кусочек необычно яркого, красного — тряпка, шарф? а черное еще чернее — он прирабатывал чисткой обуви, и помню: мельканье его черных от ваксы рук над простынями и запах побрызганного цементного пола, процарапанного метлой. Старик угощал меня приготовленным им узбекским пловом (рис — мой, морковь — его) и после плова так называемой анашей — зельем табачным, вроде опиума, мы курили — лицо его было загадочно-мудро, и я все ждал: вот-вот он выдаст сейчас нечто, и свет истины коснется меня — но — ничего — он только хихикал, обнажая гнилые зубы. А может быть, мы и встретились тут, но он меня не узнал, а я его — в толпе базарной.

Низко проносятся ласточки по опустевшей площади мимо ларьков и лавок навесных.

За тридевять земель спутница моя угощает детей конфетами, делает им «страшные» глаза.

И уже тогда, еще в Хиве, постепенно обнаружилось, что путешествия вовсе не открывают что-то дотоле не виденное — а просто возвращают к уже виденному в далеком детстве — все, что я увидел в Средней Азии — все невиданное — было в моем детстве в Тбилиси, по улице Ново-Арсенальной, № 18. Все это было там на маленьком пространстве. И росли те же кусты с какими-то несъедобными висюльками — мы называли их огурцами. И случится, обязательно случится, уже случилось, я забуду, что был в Хиве. Произнесут возле уха — «Хива» — и ничего: не откликнешься, не вздрогнешь — все вернется к новоарсенальному, забудется все, чем просветили путешествия, какие коррективы они вне-

сли в первоначальные представления, и не только Хи-ва — вся Средняя Азия вновь обернется какой-нибудь книжицей тощей с шахами, звездочетами, визирями, ослиами, шатрами, юртами, кумысом и баями. И не Среднюю Азию увидишь, а вид из окна «детской» с ковром и двумя зайчиками — солнечным и матерчатым в углу, из которого высыпаются опилки... И все расцветы — среднеазиатские: розовый короткий всплеск по окружающим Тбилиси горам, и каменистое делается песчаным. И двор, залитый солнцем, а в темном подвале — сарае — длинные щели, а внутри, в полумраке — столяр дядя Мартын (вспомнил-таки имя!) разбрасывает стружку. Густо, как мед, льются сверху тягучие солнечные лучи... Все, все оттуда. И на ржавом всячем замке другого подвала — среднеазиатское такой силы, что кажется вся пыль Средней Азии уместилась от Красноводска до Китая.

А запахи откуда?

Это цех расфасовочной в Тифлисе, в котором работают слепые (помню, однажды там была устроена елка для детей, по окончании которой по сигналу нам дали ее растащить). Давным-давно нет этого углового дома на Колхозной площади, там скрипя заворачивал трамвай к Мухранскому мосту, но если он вдруг возникнет, я, и закрыв глаза, сумею подняться по лестнице, войду в комнату и увижу окна и столы конторы, и пройду в соседнее помещение, где тихое шуршание пачек, в которые сыпят чай слепые (фасуют). И горы чая на полу. Так вот откуда запах.

— Семен Яковлевич, вы не пьете этот чай? (По шагам узнали, кто вошел, держа меня за руку).

Семен Яковлевич — мой отец. Чай — зеленый, идет в Среднюю Азию.

Как можно об этом так коротко! Тут, по крайней мере, на пять страниц! Какие столы там были, за которыми сидели слепые в полинялых спецовках и один седой

с очками синего цвета, все с очками, но не у всех стекла (было и что-то невозможное — вроде изоляционной ленты что ли). И другой слепой в оспинках пороховых с женою рядом — она тоже слепая, и о том, как они все любили моего отца и почему, и, когда он умер, шли за гробом и стучали палками в землю.

...Петух устроился в склепе кукарекать.

...Оказывается, эта рыба в рыбобарках — свежая, выловленная в озерах искусственных, а я принял ее за мороженую. Грех предубежденности...

Музей атеизма — вход бесплатный.

Вода — драгоценность. Отсюда стремление подать ее в оправе. Улочка, ведущая к водоему, по которому бежали блики и густо падали соцветья.

Мечеть с голубою водою.

По минарету, как по морю, бежит за нами лунная дорожка или перемещается, как лучик от карманного фонарика. А солнце дает жирную, горящую черту.

В сердце забился глазурированный осколок.

И среди осколков глазури — осколки чернильницы ученической — непроливайки — тоже не видел ее столетие.

И все вокруг говорят с вопросительными интонациями — особенно в категорически-утвердительных предложениях (как бы эхом вопроса).

— К вокзалу как — направо?

— Направо?

И прибавление ко всем словам — «куня». Куня — арка. Все щебечет. Пыль превращается в пыль благоухающую. Тот же фокус, что с превращением воды в вино.

Косичка узбечки в автобусе лежит на моих запыленных тупфлях...

Был один паша. Была у него дочь. Ей сорок девушек

служили: подметали пол, пекли хлеб; одна воду лила, другая ноги вытирала, другие несли ее волосы... И вот они у меня на ботинках.

...Ягнята (как богатые дамы) целиком одеты в каракуль — от копытц до кончика носа.

...Конечно, кольцо в носу подходит к климату, как зеленый чай, это можно бы стихами.

Если хочешь плов — приходи пораньше — сейчас на улице выстроены только неприятельские жерла пустых черных котлов. Умер базар — никого. Иди на дым шашлычный спокоен и угрюм.

Под голубиным крылом неба — золотая мечеть, за нею тоже золотое, земляное — тюрьма. А в шашлычной под небом — разговор двух — сквозь мое: — черт, до чего же золота много — в листьях, как в пальцах и нитях — «Пришли собаки» — какая точность, а как же иначе об этих! «...пришли собаки»... И золотая дева со сверхстройными ногами, пьющая прямо из бутылки. И какой-то обрывок сюжета: — «...мы с Толиком и его бабой были на базаре — арбуз, дыню покупать — как порядочные положили в сетку и тут вот...» Черный ворон промелькнул с собакой, похожей на самурая.

Красный арбуз — тоже золотой.

Да не на самурая вовсе, а на того соседа соседей по Ново-Арсенальной — таинственного, приходящего всегда поздней ночью и долго под кран с лебединым изгибом во дворе подставляющего страшную свою голюву, а потом топающего по лестнице в свой керосиновый чад.

Взял да ушел с базара — навсегда — чего там! Надоело, приелось, нет в этом ни черта, кроме нарушений правил гигиены.

Ослики хорошие. А халаты — тьфу. А может быть, у нее в ноздре «чехское» кольцо? Только климат постоянен, только лёс.

Не хочю твой чай.

Описания вне описанья —
Видно этим стихи хороши,
И пьянят, будоражат названья,
Скажем, город какой-то Карши.
Тут автобус набит до отказа,
И чадит перегретый мотор.
В тесноте — для стиха и рассказа
Открывается скрытый простор.
В незнакомом знакомые грани
И реальность разит не разя,
Чту доподлинность — ту, что заране
Предсказать и придумать нельзя:
Не средь трав и растений спаленных
Мавзолеи небесной красоты.
А на туфлях моих запыленных
Две сплетенные туго косы.
Две сплетенные туго косы...
До свиданья, подросток-узбечка.
У запретной почти полосы
Я заветное знаю местечко.
Близ базара торговля ножами,
Что, как бритва, преступно остры.
Дождь акаций и плов над кострами,
Устилают веранду ковры.
Уголовники ходят, хмелея
От объятий неверных подруг.
Черный ворон кружит по аллее,
Замыкая назначенный круг.

Прощание с холостяком. Почти грустное. Не исполнились его надежды — что мы выручим из милиции его документы. Врал он все: не он прогнал жену, а жена от него ушла — ходят за ним по пятам аварии автомобильные, громоздятся автомобили на автомобили, и вечно оказывается, что ехал он без спросу и путевки, или еще без чего... Исчез, уехал — думал, как лучше, просил имущество, стадо, как и полагается первому или второму сукину сыну — пропало стадо — пришлось податься в шофера... На самом деле обстоятельства его не так уж плохи — дома у него две женщины — мать

и бабушка — обе с кольцами в носу, дни напролет ткнут ковры, которые продаются по высокой цене, — и он может жить припеваючи — нигде не числясь, к великому негодованию Чингис-хана.

...Далеко-далеко, где чуть в стороне от дороги валяется старая галоша, там сердце поскользнулось...

Нечто среднее между пунктами Гиж-дуван и Караул-зар — с пятого на десятое.

Развалюха жалкая — мечети ли, склепа. Старуха славянского облика не перекрестилась, нет; сотворила этаким жест, как бы поглаживающий бороду.

Мечеть, как платье, износилась.
Торчит с тряпьем линиялым шест.
Старуха — не перекрестилась.
И вечен омовенья жест.
А дыня что? Лицо фонема...

Минаретик с искоркой на куполе.

И водоем. Я чувствовал, что вода — счастлива, каждое колыханье несло выражение чего-то большего, чем довольство. Помимо себя, он был еще изображеньем — зеркалом над ним склонившихся деревьев, девочки с косичками и мальчика с засученными штанами и коромыслом с двумя ведрами. Вокруг водоема — как круг света. Ступени, уходящие под воду (3 штуки — видны). И дерево с крокодиловой кожей, затем маленький заливчик, с покачивающимися галерами листьев акации, и юный росток какого-то будущего дерева, и цветы, и черная глубокая тень — и дерево, резко наклонное к воде, и палки торчащие (5 штук), похожие на сваи, затем еще ступени и пень с причудливыми корнями и снова палки сваи — они, должно быть, держат берега и говорят им, как детям малым: Подальше от воды! А там, где берут воду ведрами, ее больше всего

вокруг разлито, и грязь мерцает в свете сумерек. Вот четверть круга. ...Задание: наполнить пруд золотом и, мало того, еще в середину поставить драгоценную свечу... Все увидели, что пруд наполнен золотом... Пришлось паше отдавать дочку.

Чапан-ата — отец пастухов. Пропустите меня к Улугбеку! Он сидит в окружении астрономов.

Девочки в будочке сапожника-мальчика — млеют, говорят тихо в кулак, стесняются как в приемной врача. А он низко нагнулся к обуви, постукивает, не глядит на разутую ногу в чулке.

И — все вместе взятое: небо, черное от туч, и небо белесое, и небо голубое, солнце, идет дождь, видна полная луна, летают птицы, деревья гнутся, но ветра нет, есть ветер, но трава не шелохнется — все одновременно — этому нельзя поверить, но это так.

И арыки, отражающие цветные платья. Этот машет над шашлыком, как дама веером. Ишак везет баллоны с газом.

Как быть? Как унять суетный гул сердца? А ведь единственное, что достойно сжать сердце мужчины, — женщина. Плохое местожительство ты выбрал для себя, китайский переписчик, неважная оболочка — слишком торопливая для твоего труда.

«Пускай она поплачет — ей ничего не значит» — тут все от интонации — поэтический текст не совпадет с текстом, так сказать, семантическим... И прочая мюра.

Осел смотрел на меня, раздувая ноздри, как на старого знакомого, с недобрыми намерениями.

А этот все еще машет, — нет, дама бы так не смогла. Шашлык — дело серьезное.

А все-таки... ей ничего не значит.

А пыль Хивы до самого Китая
Уж не благоухает так.
И в воркованьи призывок лая —
Порханье голубей-собак.

Мечеть, как платье, изнасилась,
Торчит с тряпьем линиялым шест.
Старуха не перекрестилась.
И вечен омовенья жест.

Вышел из шашлычной нетвердой походкой, стал в очередь на такси среди халатов пестрых и погрузился в изучение вывешенных на стоянке таксомоторных правил. Прежде чем сесть в такси, оказалось, следует убедиться в наличии множества признаков: таксомоторы должны иметь:

1. Шашечную полосу с правого и левого бока.
 2. Таксометры и световые контрольные сигналы.
- А кроме того:

3. ...Не на стоянке таксомоторы предоставляются при подаче сигнала путем поднятия рук.

4. Таксомоторы не предоставляются для лиц, находящихся в степени опьянения.

Люди, как запущенные, при подходе таксомотора начинали бешено вращаться вокруг него, убеждаясь в наличии шашечной полосы с правого и левого бока. Автоинспектор — полководец — в прошлом — сборщик податей проверял таксометры и световые контрольные сигналы. Я предался праздным размышлениям: все-таки задача, которую поставил себе знаменитый лингвист Вамбери — пройти тут в те варварские сунитско-шиитские времена неразоблаченным — представлялась ему при всей сложности — элементарной. Как легко в общем-то перевоплотиться вот в этого: синий халат, опоясанный красным платком-треугольником на поясице (количество платков по количеству жен, видел только одного несчастного с двумя: белым и черным).

Внезапно он обернулся — бородка клинышком — никаких особых примет — и сказал: «С высоты полки —

с высоты верблюда. Помните? — билет дает право на что-то запретное...»

— Но откуда вы знаете? — пролепетал я жалко.

Тут подъехал таксомотор. Человек в халате открыл дверцу и приглашающим жестом указал мне на сиденье. Как лунатик, вяло обошел я таксомотор — никакой шашечной полосы с другого бока там не оказалось, и покорно сел на предложенное мне место, — он сел рядом. Конечно, никакого таксометра внутри, а тем более контрольных световых сигналов. Беспомощно глянул в окно — полководца-автоинспектора, сборщика налогов в прошлом на стоянке как не бывало — исчез, растворился. Я откинулся на сиденье, приготовился так или иначе к разъяснению невероятного происшествия. Машина тронулась.

— Любимое чтение? — спросил халат.

— Зарубежный детектив, научная фантастика, — ничего другого я, конечно, ни при какой погоде...

— Тем лучше, — перебил он меня, — быстрее поймете, что к чему. Дело в том, что наша фирма — будем называть это фирмой, бюро или конторой — специализируется по железнодорожным путешествиям. Конечно, никаких, как вы сами понимаете, железных дорог у нас в том, что вы именуете будущим, нет. После долгих поисков в этом отдаленном от нас времени фирма остановила свой выбор на вас, и если мы договоримся, вы получите место своего рода уполномоченного или управляющего в секции усложнения путешествий — всегда ведь найдутся охотники проехать ночью третьим классом по тому или иному отрезку Среднеазиатской железной дороги. Вы будете заведовать костюмерной, а также считаться главным специалистом по световому и техническому оборудованию железнодорожных вагонов. Нам нужны кое-какие детали — надежда на вас. Для начала отправитесь на самолете — мы едем сейчас к аэропорту — в Душанбе — два дня на осмотр окрест-

ностей — обратите внимание на слепого певца — возможно, мы пустим его по вагонам, не пренебрегайте мелочами, такими, например, как будет выглядеть из окна сценка: мальчик помогает старику взгромоздиться на осла. Впрочем, нас интересует скорее поэтическое воспроизведение увиденного — не столько, так сказать, подлинность — сколько доподлинность, что ли, — то есть то, что придумать нельзя, — ну, вы в этом прекрасно сами ориентируетесь — вы поэт, вам и карты в руки.

— Какой я поэт!

— Не скажите, могу вам открыть по секрету, что после неизбежной, как вы понимаете, смерти — все мы смертны — стихи ваши получили признание и еще долго имели определенное хождение у любителей, не помню уже точно, что в них такое находили: кажется, крутизну и соответствие высоты голоса с чем-то — что редко. Да и проза ваша нравилась — этакие руины, развалины несостоявшихся стихотворений.

— Вы что — реальный?

— Пощупайте меня и ущипните себя — так полагаются. — Я тут же перепутал и ущипнул его — под халатом явно — плоть.

— Тем не менее, — сказал он, — вам будет легче, если я скажу, что при всей реальности я, как бы это сказать, — в основном — проэцируюсь. Но к делу. Из Душанбе вы железной дорогой поедете в Красноводск третьим классом.

— Но, — воскликнул я, — это же черт знает сколько суток, — единственное, что я нашелся ему возразить, а мне через два часа — записывать на магнитофон одну чалму и галошки для Высокого Спутника!

— О времени не беспокойтесь, — хмыкнул незнакомец, — как это у вас говорится: тринадцать месяцев в году, а самый лучший... Поговорим лучше об оплате. Килограмм верблюжьей шерсти — что вы на это скажете? Будет у вас, прекрасный вам свяжут свитер.

...И, конечно, я забыл задать ему пару вопросов об этом самом будущем, из которого он явился.

.

...Главное в самолете — это не думать о катастрофе. Есть тайные, «властительные связи» между авариями и разнузданным воображением пассажира.

Внизу ничего не растет. Песочек из детского сада. Там его, наверное, уносит ветерок, и он завивается наподобие поземки. Облака белые и черные (как бараны в стаде). Кажется, Аму-Дарья? Необычно произносить: пустыня, пустынная — применительно к самой пустыне — словно и не тавтология. Внизу в основном обглоданные рыбки скелетики танцующие.

А у облаков не только кочевая, есть и оседлая жизнь. А вот названья, куда летают самолеты местные в Таджикистане: Восе, Гарм, Джиргиталь, Куляб, Курган-Тюбе, Хорог, Шаартуз, Яван.

Столько самолетов! И туркменок приснившихся, а один таджик нахлобучил зеленое поле аэродрома, как шапку, и ушел.

И ничего более эффектного не видел, чем луч на горке черной сухого винограда на базаре в Душанбе. Лег пятнышком. До чего же будничны мы, друзья мои! Будничность на лицах наших чумою рыщет по среднеазиатским базарам.

Пригородные поезда: названия станций: Айни, Ханака, Чептура, Регар, Пахтаабад, Сары Ассия, Денау.

А в дверь чайной все входят и входят гиганты в халатах, можно подумать на ходулях. И день между двумя базарами. Базар зеленый — вкус фисташек во рту. Перед глазами пиалы, пиалы. Я держу неправильно пиалу, как стакан. И возле каждого фаянсовый чайник. Урюк на одном базаре, изюм — на другом с чаем зеленым.

Как он был, этот человек, величествен, пока сидел на

ковре в чайхане в своем красочном великолепии в полосатых шароварах, в чалме зеленой и с белой бородой. Потом встал — и заковылял к выходу. Оказался маленьким, жалким.

Не забудь, как в чайхану принес кто-то новую мотыгу (знают, какой тут товар ходкий) и как, отрываясь от пиал, щупали ее... и как старику помогли взгромоздиться на ослика, и он тронулся, ловко маневрируя между рядами.

И наконец, тот самый певец — о чем он?

— Каждый день мне переводят — это масло, которое тает на солнце.

— Не спи, не спи — успеешь поспать в могиле.

— Что же мы не встретились, Моисей, — продолжает певец, — я столько ждал тебя. — Откажись от всего: от друзей и врагов — только через любовь придешь ко мне, — отвечает Моисей.

— Я попал во власть к черту. (А вокруг певца толпа плачущих людей.)

— Прошла моя драгоценная жизнь, и как же мне стыдно за нее.

— Все дает бог и все он возьмет — ни на что другое не надейтесь.

(Возьмет, возьмет и этого мальчика на ослике, и всех сидевших в той чайхане.)

— Остался я один с требовательным богом, — поет слепой, и всяк останавливается — пеший и конный, послушает, смахнет слезу рукавом или платком цветным. А невдалеке альпийские луга и снег и солнце печет немилосердно. Мальчик в тубетейке и красном халате и белой рубашке. А старуха сняла с головы вышитый платок и подала слепому. И он вытер лицо им, как бы благодаря и, не прервав пения, положил платок за пазуху. Потом пришел старик старый, старый, скинул мешок, сел на него, а с ним был, видимо, внук его или правнук, который устроился у него на коленях, и стали

слушать — оба и черный козленок с рожками умильными до потусторонности...

И сколько дали пшеницы на двадцать копеек и как ее высыпали вам из ведра в пасть портфеля... м-да... а для чего, для кого пшеница? — сказать скажу — ну это я так, для птицы одной в оперном оперенье, допустим, для Симург, простирающей тень от крыльев, и пока она простирает — спишь — три дня, два дня, четыре... (не спи, не спи). Нет, не Симург, по правде говоря, ее зовут Кеклик, нет, не Кеклик, а Майна — австралийский скворец, и не Майна, а уже точно — Кафка.

И уголок букинистов — продавцов рукописей на базаре.

Душанбе — с дымками шашлыков повсюду. Душанбинки. И река Душанбинка.

А улитки в парке Айни покинули свои домики и ползут — беззащитные — идешь как по раскаленным углям, стараясь не наступить — это у них пора любви. Любовь, сопряженная со смертельной опасностью. Без домиков они похожи на прелые, скользкие, сложенные в трубочку осенние листья.

И пенье куропаток уводит в горы. Но что это значит? Быть в горах по ощущению не значит быть высоко... В реке непрерывно ныряют белые спины. Фантазия — строительный компонент горообразования (только с другим, не нашим временем) и кружишь тут как в буране. Смешение белых и красных рек, как вина, и колыбель туманов рядом.

Девочка с настоящей лопатой, как игрушкой, играет — во что? — в копку земли — меланхолическое зрелище. А рядом, в полутьме магазина, метром деревянным отмеряет приказчик материю. Только тут ткани — ткань.

Пятнышки маков на крышах домов глинобитных. На крышу ведет деревянная лестница, приставленная к

стене. И бережно хранит изумрудная лужайка с горы просыпавшиеся камни, там, где два теленка, отчаянно размахивая хвостами, стоят, прижавшись влажными носами. И ослы на свободе. И шум реки, когда останавливается автобус. Мельница возле села, где бежит чистой вода, неправдоподобно дымчатая, и горы снеговые близко-близко туманятся. Довелось немного-таки увидеть вблизи то, что вдалеке, и потрогать чуточку. И великое собрание камней огромных в ущелье. Конечно, затерялся бы среди них мой камень у одних ворот на улице Чехова, что в Тбилиси. Камень — скамейка. И тут же то, что хочется написать отдельно. Омут. (Куда нельзя сетей закидывать. Сын рыбака говорит: — Мой отец предупреждал меня не закидывать сетей в этот омут, а я теперь как раз в этот омут закину сети.)

Маленькие птицы ходят пешком среди серых обломков. По уступам вода становится хрустальной. А один бурный ручей — прямо в дом и течет уже там под комнатой или в комнате! И мох черного цвета — живой, неживой? но в глубине черного зеленый. И смешение белой и красной рек. И так далее.

Пора на вокзал... Душанбе. Пляшет и рыдает, говорит частушками вокзал.

И в этой суете сидит на месте боковом таджичка и что-то ест в каком-то своем цветастом отвлеченье.

Прощальные слова пульсируют и сразу каменеют.

— Я буду честно ждать (разбитная уродина в окне красивому мужчине. А, впрочем, на всякое уродство нужно смотреть так: а черт его знает, может, это красиво?)

А билет на право в общем вагоне уже у проводника в его — замечаю для другого своего хозяина — сумке кирзовой.

Ночь в вагоне. Как национальным становится то или иное: с полки выглядывают две русые головки, и на ум приходят — полати. Узбечка превратила скамью в уголок чайханы или айвана. Иду по длинному узкому проходу мимо ног в носках, и босых, аккуратно, как у покойников, прикрытых простыней. Вагон спит, только мне бодрствовать по долгу службы, запоминать «рембрандтово» освещение и блеск в полутьме никелированных поручней. Пристально воет гудок. А за окном, быть может, — Термез.

Агаршаньду. Пустыня. Проекторы выхватывают как бы волны. Становится все темнее к рассвету. По песку, после сна распластав осторожные крылья сюжета, погромохивал мерно состав и темнело по мере рассвета.

Название станции Анау. Полная тьма. Оранжевый (как платок) пояс рассвета над перроном. Меня всегда интересовало: что если кормить верблюдов и поить растения пустыни? Пасмурный день — пустыня отдыхает от себя самой. Белый — черный — против света хлопок на проводах пристанционных. В моем окне пустыня — плакучий саксаул. Пустыня разная из разных окон. Предметы в пустыне удваиваются, они всегда ведь на что-то похожи — и населяется пустыня. И начинаешь жонглировать нехитрыми предметами ее: изолятором столба, похожим на белую птицу, комочком хлопка с зернышком внутри...

Стоял, должно быть, суслик в окружении серебристых птичек среди кустов зеленых, отливающих серебром. Норы, норы. Ни травинки, ни былинки, ни деревца. Степь выжжена еще с мая месяца. Сколько же отпускается ей времени? Красные штанишки, зеленая юбка, белый платок.

Адрес: Аму-Дарьинская. Первому попавшемуся.

— В Ашхабаде ходил без конвоя. Ничего в нем хошего нет.— Я вам— не халам-балам. Разговорчики.

Верблюды и верблюжата. Маленькие повторяют взрослых — так же растопыряют ноги. А с другой стороны, выяснится после — верблюдики то или эслик. Костер в степи.

...Поезд медлит и медлит, но неуклонно близится Красноводск. За окном — всё то же — без подробностей — чуточку зеленое в некоторых местах: бывшее дно с миражем моря, потом оно оказалось настоящим, и все прильнули к окнам. На голубом чернела лодка неподвижная, а скальные горы с другой стороны вагона в профиль походили на сфинксов — сходство усугублялось продольными царапинами. То были старые сфинксы, изрядно пострадавшие, а не новенькие — только из мастерской. А у самого моря — видимо, шабашили там — сидели обнаженные по пояс под солнцем — прожоя глазами состав.

И вот я уже в том, тогда наглухо закрытом, привокзальном ресторане Красноводска. Круглые столы, тихо и уютно. Средняя Азия пылает, горит за оранжевой занавеской, но колышут занавеску уже иные ветры...

Я не опоздал — галошки с чалмою еще не явились в наш номер. Высокий Спутник отдыхал. — Что-нибудь купили — спросил он меня, посмотрел на газетный свёрток. — Да, так, — замялся я, — верблюжья шерсть — один килограмм для свитера. Давайте поделим.

А далее не какой-нибудь Караул-базар и не Гиж-Дуван, а сама Бухара — незабываемая, но, видимо, незабываемое и память — лютые враги, — ничего не помню, ни в каком году, ни когда — как помнит их вот этот севший за наш столик — разрешите присесть, назвавшийся Мирзахановичем.

— Из Тбилиси? Ну как же, был там, позвольте, в последний раз э, э, в таком-то году, как раз-весною, и

останавливался, как сейчас помню, по улице такой-то, в доме номер... и пошел, и пошел сыпать датами и адресами. Оставил нам свой адрес и понятие о звоне кирпича — дзинь — пальцем по кирпичу, обжиг перво-классный — для ханского гарема — человек пока не обожжет находится сам в печи — он более хе, хе — был огнеупорным... Теперь не тот кирпич.

— А люди — что тут, — бубнит обожженными пло-вом губами Мирзаханович, — никуда их не тянет — за-ползут в свои дома — дуваны, ханаги — не надышится им хозяин — так и умрет, не надышавшись. Еще в мо-лодости кое-кто тянется к культуре, а потом ничем их нельзя остановить — так стремительно лезут обратно в свою родную грязь.

Эх, Мирзаханович, Мирзаханович — эксперт по клад-ке кирпичной, которую не жалко скрывать штука-туркой...

Раз и навсегда, еще в 9—10 веке, в Бухаре исчерпа-но все, что можно сделать с кирпичом, — все мысли-мые и немыслимые комбинации. Культура и цивилиза-ция — блок разделял эти понятия, они представлялись ему враждебными. Так цивилизация, например, разру-шает уют культуры — комфортом. Комфорт — а «уюта нет»...

Спокойно, спокойно, не торопись, пусть она себе Бухара за гостиничными окнами, а ты жди талон теле-фонный. Как быть? Как унять суетный гул сердца?

Сейчас где-нибудь тут, на базаре, продали ковер — таинство сделки — ударили по рукам — свершенье, сверше-нье — и сценка представляется как бы шиворот-навы-ворот — все ради этого жеста. Да и вообще тут все на-оборот. Врет история. Не мог быть этот народ воинст-венно жестоким, и сажать узников в колодцы с ре-шетками и рубить головы. Старик копает арык, цветное платье крохотной девочки пасет стадо баранов. Словно есть какая-то другая история в истории и даже другая

политэкономия — вот дома тут различаются не по богатству — размеры их зависят, кажется, только от количества добровольно вложенного труда и ни от чего больше.

Как унять суетный гул сердца? О Бухаре — можно бы как о Венеции Блока. У Бухары радикулит. Она скулит, скулит, скулит. Собственно не город, конечно, а старуха в подворотне, жалящаяся соседка... И все-таки: у Бухары радикулит.

Быть свободным, молодым по улицам Бухары — впитывать всю эту вселенскую замедленность — почти беспечность. Ночью — молодые, оранжевые в оранжевом свете — по старым песчаным улочкам, что им до ее радикулита.

Молодые — как это? — «Мы следующие за нами». Какое-то марево воспоминанья: никто не жалуется на жару, и никто не замечает нехватки кислорода. Пылает печь под пылающим небом, где «Сона» готовит плов с волшебной нарезанной морковкой. Добросовестность и автоматизм с той высшей марки чистотой, которая в компонентах копоти и сажки (как классическая лесная пылинка-соринка в воде родниковой). И демократизм — высшие чины едят то же и там же — что и где низшие и не брезгают. Прогресс будет заключаться в том, что постепенно забрезгают, ведь — «некультурно» — цитируют Мирзахановича.

Огонь в печи перестал пылать, видимо, плов на стадии, когда он должен «доходить». Неужели я буду есть еще Сонин плов! Белоснежными оказались зубы у всех — как заулыбались, когда подали огромное блюдо с пловом. А Сона уже вытирает тряпкою котлы, ворочает куполами, приставляет их к стене. И печь остыла. На сегодня — все: плова больше не будет. И детские платица бегают по каким-то холмам, освещенным солнцем, — все время для них находится высота. Как и у меня в детстве на Ново-Арсенальной.

...И женщина из чайханы проходит с вечерним прекрасным лицом, усталым после стольких трудов с котлами. И детский голосок из дома-стены: «Кто там?» и страх, что все это кончится, и мы со спутницей вышли на улицу, условно названную «Продавцов роз», а на завтра обещаны синие птицы. Это почти криком кричалось: «На завтра обещаны синие птицы!» Говорили: «Поедете к той загородной мечети — там птицы синего цвета». Близ Бухары, о господи! И мы сели на одну из этих огромных кроваток (где пьют чай) над хаузом — водоемом, а по радио какая-то свистулька с бубном... И охавки гнезд, в них аисты стоят на тонких ногах и шевелятся перья, и блестят на солнце — мечеть живая... И на сцене появляется заметальщик с метлой и говорит: «Вот раньше были розы — вы купили нехороший — ташкентский — вон там — я бросил один хороший», — и ушел со сцены. Я отдал ему бутылку вина, которую нес с собой, чтобы прихлебывать по дороге.

И радость такая — словно аист стал вить гнездо в вашем доме с внутренним двориком...

БУХАРА

Свистит какая-то свистулька,
И еле слышно бубен бьет.
Невдалеке от переулка
Гнездо, представьте, аист вьет.

Пристроился на мертвой ветке
И на одной ноге стоит,
Старуха жалится соседке:
И тут, и там, и здесь болит.

Все то, что минуло — подспудно,
Теперь живет для молодых.
Свистулька свищет в ухо бубна
Не для тебя. Для них, для них.

А солнце древнее Востока,
Немилосердное, палит,

Как о Венеции у Блока
Писарь о Бухаре велит.

У Бухары — радикулит:
Она скулит,
скулит,
скулит.

Бухара съедобна на рассвете — главное — не упустить первый луч по земляным стенам.

Тускнеют на дверях кольца медные — стучалки, а рядом кнопка электрического звонка. На стук открывают одним, на звонок — другим?

Распахивают ставни базарные лавчонки. Ведут осла, обняв его за шею.

...Как не волноваться — не быть в Бухаре — в Бухаре — быть в закрытом аэропорту стеклянном, каменном, похожем на кафе. «В следующий раз я вам дам билет», — говорит кому-то кассирша. Смешно — в следующий раз — не бывает следующего раза.

Бухара — для меланхолических прогулок молодых оранжевых в оранжевом свете — мелькнут за чернотой проулка в секторе света и исчезают. Розы Бухары — величиной с капусту и по смыслу... Аисты. Что ж Бухара. Чор минор. Чур меня. Чор минор.

Сейчас мы улетим с Высоким Спутником в Ташкент.

Азию отгоняют как пустыню, борются с нею туризмом, переезжают ее велосипедом, но все еще не хватает средств.

Сейчас улетим.

Я вспоминаю первые мои тогда со спутницей робкие шаги по Азии — к какому-то входу во что-то и напуганное старухи узбечки: «Идите, идите там — хороший есть» и последние, прощальные, кажется — пятак: — «Посидите, — говорят нам, — выпьем чай. — Нет времени у нас, спасибо (Гостеприимство и бедность режут без ножа). Спасибо, в следующий раз непременно...»

Так солнце пишет неуверенной рукою в небе письма. Вдыхай всей грудью пыль (во всяком случае в конце апреля — она целебна).

И серпик сверхвосточного месяца.

ВООБЩЕ

А в пустыне не мучила жажда,
Открывалась такая страна,
Где повсюду, под деревом каждым
Притаилась в тени чайхана.

Неподвижны, деревья-тихони,
И халаты пестрее цветут.
Что тут тискает каждый в ладони,
Что, блаженно зажмурившись, мнут!

Вот приму беззаботную позу,
Пусть пиалам теряется счет.
Я узнал: этот тискает розу,
Этот — птичку какую-то мнет.

Не какую-то, а перепелку,
И ладони, как воздух, легки:
Вертит птица головкой сквозь щелку,
Выпрямляет цветок лепестки.

Ташкент. Дождь. Парк рыжий с мокрыми листьями и прощальный мой в одиночестве (Высокий Спутник на банкете в его честь) ужин в буфете гостиницы «Ташкент» — видимо, лучший вариант бесприютности — самый комфортабельный и вместе с тем достаточно демократичный. Все время входят и выходят. Вошла, села, спросила о цене на коньяк, при этом пила сок томатный. Что-то все же было в этом городе — все женщины в белых чулках, дождь проливной... Тень от соседа напротив что-то сыплет не в свою тарелку. Лепешка по цвету похожа на сыр, поэтому ее едят без сыра. Я знал давно, что хорошее отварное мясо имеет вид жа-

реного. Вот и подходят к концу твои труды, китайский переписчик. Скоро дома. Аэродрома, дома — рифмуется с чуточку грома. Выпьем, чтобы шасси самолета благополучно коснулось дорожки... Каков же итог? Пронесил бесполезно камертон в кармане — ни одного «самовитого» слова. «Не ищи в нем зимних масел рая, конькобежного фламандского уклона». Что это, о чем? С ума сойти можно. Зимние масла рая. Блаженное, бессмысленное слово. Золийский высокий строй. Дорастем лет через сто. Шарк — шарк — родное чужого. Где ты родное родного? И вдруг — чудо, рядом за соседним столиком молодые ребята — разговор: — «...никакое это не «самовитое» слово — зимние масла рая, конькобежный фламандский уклон, — это просто картина зимнего Воронежа в негостеприимный год для поэта...»

И я выпил про себя за этих мальчиков, за родное родного.

А за окном рахитичный ветер, сам ходить уже не в силах и развозится что ли в машинах поливальных вместе с дождем. Шум дождя — шум мотора. А в пепельницах — «у нас не курят» — не окурки, а красный жгучий перец.

Пришел сын буфетчицы улыбчивый, компенсирующий ее хмурость. Ну а та, что помогает буфетчице, не подозревает, что у нее родная сестра на пятом этаже буфета гостиницы «Тбилиси» в Тбилиси и всегда нам с другом моим Гией вдогонку: — Приходите еще!.. Что это говорил Гиа в последний раз? Когда уже нет Моцарта, то самым близким человеком оказывается Сальери — с кем же еще говорить о Моцарте! Короче — ищу Сальери...

Все, все — и горчицу отобрали сверхвежливо. Закрывают.

А что я запомнил? Всего лишь крупницы
Минувшей, блаженной поры.

На завтра обещаны синие птицы,
О господи, близ Бухары!

Полет. Нашелся чемодан Высокого Спутника. Внизу армия облаков — государств. В земле-лепешке — ни души. Замерли шаги мальчишек, считавших ступени мавзолея Шахи-Зинды. Электрик был недолго болен. Изразцы, лабиринты, кроссворды глазури. Буквы с шеями фламинго. Улетучивающаяся Азия.

...После мытарств долгих он снова женился на своей жене и достиг своей цели — обрывок магнитофонной ленты.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ

| | |
|---------------------------------------|----|
| Что в имени тебе Зербити... | 5 |
| Маргарита | 6 |
| Пустота | 8 |
| Коджори | 10 |
| Опавших листьев ворох прелый... | 13 |
| Досмотр прост... | 15 |
| И скрипнул лес... | 16 |
| В войну — Шопен: шаги, шажки... | 16 |
| Джвари в ржанье лошадей... | 17 |
| Конечно, нет духана углового... | 18 |
| Вновь дерево Иудино в цвету... | 19 |
| С утра авто коптит, коптит, коптит... | 20 |
| И солнце, что похоже на луну... | 21 |
| Вдруг тайной вечера примета... | 22 |
| Чугурети | 23 |
| Кинто | 24 |
| Лежит собака на газете | 25 |

| | |
|--|----|
| Еще твои балконы виснут... | 26 |
| На Гончарной или на Кувшинной... | 27 |
| Вариант вступления | 28 |
| Из книги «Что сторожат ночные сторожа» | 31 |
| Кастрюля и звезда едины... | 44 |
| Манглиси через 25 лет | 45 |
| Отходы стихотворения «Маргарита» | 50 |
| Кубачинский орнамент | 52 |
| Среднеазиатское | 54 |
| Слобода | 58 |
| Когда же это было? Снег и город Они... | 61 |
| Некое подобие духана.. | 62 |
| В соседней комнате шуршит газета... | 63 |
| Единственное чтение — Дюма... | 64 |
| И оказался вовсе не огромным... | 65 |
| Из «Ахалцихского цикла» | 66 |
| На хаши! Хаши! Ты была... | 68 |
| Решительно. Решительно во всем... | 70 |
| В саду | 72 |
| Золотая пыль | 74 |
| Мзи | 77 |
| Скра | 80 |
| Июль, июль — все те, кто побогаче... | 32 |
| Сентябрь. Сентябрьские утехи... | 83 |
| Рисую вечные картины... | 84 |
| На миг один перед глазами... | 85 |
| А что же помню я? Возможно — горы... | 86 |
| Самовары и чуреки... | 87 |
| Что ты можешь знать заранее?.. | 88 |
| А в качестве некой приманки... | 89 |
| Две направленные фары... | 90 |
| Строфы для третьей книги | 91 |
| Даты, даты, какие-то даты... | 93 |
| Зачем мы ходим по гипотенузе... | 94 |
| А все же что-то было, было... | 95 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Оставь, оставь пустые страхи... | 96 |
| Кораблик в море и в кафе серьга... | 97 |
| И были огромными эти крупницы... | 98 |
| Просто | 99 |
| Все меньше остается тех вещей... | 100 |
| Но я не вижу, чье это лицо... | 101 |
| Так суждено: за кругом круг опять... | 102 |
| Равновесие | 103 |
| Итог неутешительный... | 104 |
| Блик | 105 |
| Сидеть бы в кафе с большеротой... | 106 |
| Вид из окна | 107 |
| Вот она возникает из пены... | 108 |
| Так ведь не было даже вначале... | 109 |
| Экспедиция | 110 |

ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| Но нужно тут так выбрать время, чтобы была суб- бота, воскресенье и понедельник | 112 |
| В гостях | 114 |
| В | 117 |
| Момент | 119 |
| Пропадает стихотворение | 121 |
| Плывет, куда ж нам плыть? | 122 |
| Преображение | 133 |
| Прогулка | 139 |
| Барашек светорунный | 143 |
| Чертово колесо | 146 |
| Казбек | 152 |
| На пути к себе | 161 |
| Мафусаил | 165 |
| Светицховели | 167 |
| Телави | 169 |
| Кутаиси-Кутаис | 171 |
| Гелати | 174 |
| План стихотворения «Весна» | 178 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Ранняя весна | 179 |
| Груша | 181 |
| Ложки | 184 |
| Хлеб немного вчерашний | 200 |
| Шарк-шарк | 257 |

ЦЫБУЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

ВЛАДЕЛЕЦ ШАРМАНКИ

Редактор издательства Л. Баазова
Художник Р. Кондахсазов
Художественный редактор А. Сарчимелидзе
Технический редактор Э. Ахсахалия
Корректор И. Багратуни

Сдано в набор 9 января 1973 г.
Подписано в печать 13 августа 1973 г.
Бумага № 1. Формат 70×108^{1/32}.
Уч.-изд. л. 10,92, усл. п. л. 13,65, печ. л. 9,75,
Заказ № 47. УЭ 00514. Тираж 20.000 экз.

Цена 54 коп.

Издательство «Мерани», Тбилиси, пр. Руставели, 42,

Типография издательства «Таврида»
Крымского ОК КП Украины
Симферополь, пр. Кирова, 32/1.

ციბულევსკი ალექსანდრე სემონის ძე

არღნის მფლობელი

(რუბულ ენაზე)

51 коп.

1950
11/20